

BESTSELLER THE NEW YORK TIMES

САЛМАН

РУССКИЕ

ЗОЛОТОЙ
ДОМ



Салман Рушди Золотой дом

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=40848281

Золотой дом: роман / Салман Рушди; пер. с англ. Л. Сумм.: АСТ.

CORPUS; Москва; 2019

ISBN 978-5-17-102316-4

Аннотация

Нерон Голден прибывает в США при таинственных обстоятельствах, поселяется со своими тремя сыновьями в особняке на Манхэттене и вскоре входит в круг самых влиятельных людей Нью-Йорка. Историю Голденов рассказывает Рене, их сосед, молодой человек, мечтающий стать кинорежиссером. В жизни семьи множество сюжетных поворотов. Есть и ссоры между братьями, и появление прекрасной и коварной дамы, есть предательства и убийства. Но Рене – не только наблюдатель, он становится и участником множества бурных событий.

Содержание

Часть I	6
1	6
2	12
3	22
4	34
5	47
6	60
7	81
8	100
9	119
10	129
11	135
Конец ознакомительного фрагмента.	144

Салман Рушди

Золотой дом

Альбе и Франческо Клементе, чьи дружба и гостеприимство открыли для меня Сады

За медную монету расскажу вам золотую историю!

Выкрики уличных рассказчиков Древнего Рима, приводятся у Плиния

*В столь горькое время выпало нам жить, что мы тишимся не замечать эту горечь. Приходит беда, рушит нашу жизнь, а мы сразу же прямо на руинах наново торим тропки к надежде. Тяжкий это труд. Впереди – рывины да преграды. Мы их либо обходим, либо, с грехом пополам, берем приступом. Но какие бы невзгоды на нас ни обрушивались, жизнь идет своим чередом.¹
Д. Г. Лоуренс “Любовник леди Чаттерли”*

*La vie a beaucoup plus d'imagination que nous.²
Франсуа Трюффо*

© Salman Rushdie, 2017

© Л. Сумм, перевод, 2019

¹ Перевод И. Багрова.

² У жизни куда больше воображения, чем у нас (франц.).

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет,
2019

© ООО “Издательство Аст”, 2019

Издательство CORPUS ®

.

Часть I

1

В день инаугурации нового президента, когда мы опасались, как бы его не убили, пока он шел рука об руку со своей прекрасной супругой через ликующую толпу, а также когда столь многие из нас стояли на грани экономического краха из-за ипотечной пирамиды и когда Исида³ все еще была египетской матерью богов, некоронованный король семидесяти с лишним лет прибыл в город Нью-Йорк с тремя сыновьями-полусиротами и поселился во дворце своего изгнания. Он держался так, словно все было в порядке и с этой страной, и с миром, и с его собственным прошлым. Он начал царствовать в наших окрестностях как снисходительный император, хотя при всей своей очаровательной улыбке и умении играть на скрипке (Гваданини 1745 года) он испускал тяжелый и дешевый аромат, безошибочно различаемую вонь примитивной деспотической угрозы, тот запах, что остерегает нас: не спускай глаз с этого парня, он способен в любой момент распорядиться тебя убить, если ему не приглянется

³ По-английски ISIS – Исида и ИГИЛ (организация, запрещенная на территории РФ).

твоя рубашка, например, или приглянется твоя жена. Следующие восемь лет, годы правления сорок четвертого президента, стали также годами все более сумасбродного и устрашающего владычества над нами человека, именовавшего себя Нерон Голден (на самом деле он не был королем), и это время завершилось большим, метафорически говоря, апокалиптическим пожаром.

Старик был невысок ростом, можно даже сказать, приземист, и гладко зачесывал волосы – по большей части все еще темные вопреки его преклонным годам – назад, подчеркивая треугольную челку, “чертов хохолок”. Глаза у него были черные, пронзительные, но первым делом ты замечал – он часто заворачивал рукава повыше, именно чтобы обратить внимание собеседника – предплечья толстые и сильные, как у борца. Крупные золотые перстни сверкали изумрудами. Мало кто слышал, чтобы он повысил тон, но мы не сомневались, что в нем таится великая мощь голоса, которую лучше не пробуждать. Одевался он дорого, но при этом в нем было нечто животное, шумное, отчего он казался Чудовищем из сказки, словно человеческие наряды его сковывали. Мы все, жившие по соседству, изрядно его побаивались, хотя он предпринимал заметные и неуклюжие усилия, чтобы вести себя приятно, добрососедски, неистово размахивал тростью, приветствуя нас, и в самое неуместное время зазывал к себе на коктейль. На ходу и стоя он подавался вперед, словно борясь с сильным ветром, который только он и ощу-

щал, верхняя часть туловища наклонялась слегка, не слишком сильно. Это был мощный человек – более того, человек, влюбленный в свою мощь. Его трость казалась скорее декоративной и экспрессивной, чем функциональной. Прогуливаясь в Саду, он всячески старался подружиться с нами. Часто он протягивал руку, чтобы погладить чью-то собаку или потрепать ребенка по волосам. Но дети и собаки съезживались от его прикосновения. Порой, наблюдая за ним, я вспоминал созданного Франкенштейном монстра, симулякр, который терпел провал при любой попытке выразить подлинно человеческие чувства. Его кожа была коричневой и словно дубленой, в улыбке блестели золотые пломбы. Громкий человек, не всегда соответствующий нашим нормам, но безмерно богатый, и потому, разумеется, с его присутствием мирились, хотя нельзя сказать, чтобы он сделался особо популярен в нашем сообществе художников, музыкантов и писателей.

Можно было бы сразу сообразить, что человек, принявший имя последнего римского императора из династии Юлиев-Клавдиев и поселившийся в *domus aurea*⁴, публично заявляет о собственном безумии, злодействе, мании величия и грядущем роке и к тому же смеется всему перечисленному в лицо; что такой человек бросает перчатку к ногам ро-

⁴ Золотой дом (лат.). Так назывался дворец римского императора Нерона, который “играл на скрипке, пока горел Рим”, уничтожал христиан, а когда подданные наконец взбунтовались, покончил с собой. *Golden House* – дом Голденов и буквально “Золотой дом”.

ка и щелкает пальцами под носом надвигающейся Смерти, восклицая: “Да! Можете сравнивать меня, коли охота, с чудовищем, которое поливало христиан оливковым маслом и превращало в факелы, освещающие по ночам его сад! С тем, кто играл на лире, когда горел Рим (скрипок в ту пору на самом деле еще не было)! Да, я назвался Нероном из династии Цезарей, последним из этой кровавой семейки, и понимайте это как знаете. А мне просто имечко нравится”. Он совал нам под нос свою извращенность, наслаждался ею, дразнил нас, презирая наши умственные способности, уверенный, что сумеет без труда одолеть всякого, кто противостанет ему.

Он явился в этот город словно один из тех свергнутых европейских монархов, глав завершившихся династий, кто по-прежнему использует вместо фамилии торжественные титулы – *Греческий, Югославский, Итальянский* — и словно бы не замечает горестной приставки “экс”, будто ее и не существует. Он-то ни в чем не “экс”, говорила его манера держаться, король с ног до головы, от жесткого воротника рубашки, запонок в манжетах, шитой на заказ английской обуви до манеры неуклонно двигаться на закрытые двери, зная, что они перед ним распахнутся; королевской была и его подозрительность, он ежедневно проводил заседания с каждым из сыновей по отдельности, выпрашивая, что говорят о нем другие два брата; королевскими были его автомобили, пристрастие к азартным играм, неотбываемая подача в пинг-понге, склонность к проституткам, виски, фарши-

рованными яйцам и частенько повторяемая максима, ее уважали все абсолютные властители от Цезаря до Хайле Селассие: единственная ценная в его глазах добродетель – преданность. Он часто менял мобильные телефоны, почти никому не сообщал номер и не отвечал на звонки. Не впускал в дом журналистов и фотографов, но там частенько бывали двое из его постоянных товарищей по игре в покер – седовласые донжуаны, обычно в кожаных куртках и ярко-полосатых галстуках, молва подозревала обоих в убийстве богатых жен, хотя в одном случае обвинения вовсе не выдвигались, а в другом остались недоказанными.

О своей отсутствующей жене он молчал. В его доме среди множества фотографий – на стенах и каминных досках расположились рок-звезды, нобелевские лауреаты, аристократы – не было снимка миссис Голден или как там она звалась. Тут явно таился какой-то позор, и мы, к стыду нашему, перешептывались, гадая, что же это могло быть, воображая размах и наглость ее измен, восстанавливая образ аристократической нимфоманки с сексуальной жизнью более скандальной, чем у любой кинозвезды, ее неверности были известны всем и каждому, за исключением мужа, чьи глаза, ослепленные любовью, с обожанием взирали на ту, которую он считал преданной и целомудренной женой своей мечты, и так до ужасного дня, когда друзья поведали ему правду, сошлись все вместе и сказали ему, и как он неистовствовал! Как проклинал их! Называл лжецами, предателями, семеро мужчин

с трудом удерживали его, не давая поранить тех, кто вынудил его увидеть реальность как она есть – и наконец он признал реальность, принял ее, изгнал эту женщину из своей жизни и запретил вовеки приближаться к рожденным ею сыновьям. Дурная женщина, говорили мы друг другу, восхищаясь собственной проницательностью, и эта сказка вполне удовлетворила нас, на том мы и остановились, нас больше волновали собственные проблемы, историей Н. Ю. Голдена мы интересовались лишь до известного предела. Мы повернулись спиной и занялись своими делами.

Это была страшная ошибка.

Что есть хорошая жизнь? И что – ее противоположность? На эти вопросы никакие два человека не дадут одинаковый ответ.

В наше трусливое время мы отрицаем величие общечеловеческого, утверждаем и прославляем местные предрассудки и мало в чем можем согласиться. В наше упадочное время человека не волнует ничто, кроме тщеславия и личной выгоды – пустые, претенциозные люди, которым все дозволено, лишь бы служило их жалким целям, стремятся стать великими вождями и благодетелями мира, они якобы служат общему благу, а все их противники – лжецы, завистники, ничтожества, глупцы, ископаемые, и, выворачивая правду наизнанку, они приписывают бесчестность и подлость своим оппонентам. Мы же так разделены, так враждебны друг другу, одержимы ханжеством и презрением, так погрязли в цинизме, что свою высокопарность считаем идеализмом, мы так разочарованы в правителях, так издеваемся над институтами своей страны, что само слово “добродетель” лишилось смысла и придется, видимо, от него до поры до времени отказаться, как и от других ставших токсичными слов – от понятий “духовность”, например, “окончательное решение” и (по крайней мере в рекламе небоскребов и жареной картошки) от слова “свобода”.

Но в холодный январский день 2009 года, когда загадочный мужчина семидесяти с лишним лет, которого нам предстоит звать Нероном Юлием Голденом, явился в Гринич-Виллидж на лимузине “даймлер” с тремя сыновьями и без малейших признаков жены, он, по крайней мере, ясно дал понять, как ценится добродетель и каким образом правое дело отличается от неправого.

– В моем американском доме, – сообщил он трем внимательным сыновьям, пока лимузин вез их из аэропорта в новый дом, – мораль будет приравнена к золотому стандарту.

Подразумевал ли он высочайшую ценность морали или же хотел сказать, что мораль определяется богатством или что он, с его золоченым новым именем, станет единственным судьей правды и неправды – этого он не пояснил, и младшие Юлии, по давней сыновьей привычке, не просили уточнений. (Они все предпочитали на императорский лад зваться во множественном числе Юлиями, а не Голденами – скромностью они тоже не страдали.) Младший из трех, томный двадцатидвухлетний юноша, чьи волосы красивым каскадом падали на плечи (а лицом он напоминал гневного ангела), все же задал один вопрос.

– Что нам отвечать, – спросил он отца, – когда станут интересоваться, откуда мы родом?

На старческом лице багрово вспыхнул гнев.

– Я уже говорил вам! – прикрикнул он. – Скажите им, к чертям идентичность. Скажите им, мы – змеи, которые

сбросили старую кожу. Скажите, что мы переехали в центр из Карнеги-Хилл. Скажите, что мы только вчера появились на свет. Скажите им, что мы материализовались благодаря магии или прилетели из окрестностей Альфы Центавра, космический корабль скрывался в хвосте кометы. Скажите, что мы ниоткуда, или откуда угодно, или откуда-нибудь, мы притворщики, мошенники, реконструкторы, меняющие обличия, иными словами – американцы. Не называйте страну, которую мы покинули. Никогда ее не называйте. Ни улицу, ни город, ни страну. Я не желаю больше слышать их названия.

Они вышли из автомобиля в старинном сердце Виллидж, на улице Макдугал, чуть дальше Бликер, рядом со старинной итальянской кофейней, которая как-то еще существовала с тех давних пор, и, не замечая гудков машин за спиной и умоляюще протянутой ладони по меньшей мере одного грязного попрошайки, оставили “даймлер” посреди дороги и неспешно принялись выгружать из багажника свои пожитки – даже старик настоял на том, чтобы нести чемодан самостоятельно – и перетаскивать их в величественное здание в стиле боз-ар на восточной стороне улицы, прежний особняк Мюррея, отныне – Голден-хаус. (Торопился с виду только старший сын, тот, кто не любил бывать вне дома, носил темные-претемные очки и на лице у него проступала тревога.)

Так они прибыли и так собирались жить – независимо, на чужие мнения отвечая равнодушным пожатием плеч.

Особняк Мюррея, самый большой дом в Саду, пустовал уже много лет, в нем обитали только знаменитая своим высокомерием итальяно-американская домоправительница пятидесяти с чем-то лет, ее столь же заносчивая, хотя и намного более молодая помощница и проживавший там же любовник. Мы часто гадали насчет владельца, но эти свирепые стражницы неотрез отказывались удовлетворять наше любопытство. В ту пору многие из богатейших людей покупали недвижимость с единственной целью – стать ее обладателями, и по всей планете распространялись заброшенные, словно стоптанная обувь, дома, так что мы решили, наверное, какой-нибудь русский олигарх или нефтяной шейх имеет тут свой интерес, и, пожав плечами, привыкли словно бы и не замечать пустующий дом. К нему был приставлен еще один человек, приятного характера, мастер на все руки с испанским именем Гонзало, которому эти стражницы-драконши поручали присматривать за домом, а если у него оставалось свободное время, мы зазывали его к себе и просили исправить проводку или трубы, а посреди зимы почистить от снега крышу и крыльцо. Эти услуги он оказывал нам с улыбкой в обмен на небольшие суммы наличными, деликатно вкладываемые в его ладонь.

Исторический район Сад Макдугал-Салливан – давайте же назовем Сад его полным, благозвучным именем – был заколдованным, свободным от страха местом, где мы жили, растили детей, был счастливым прибежищем от разочаро-

ванного, запуганного внешнего мира, и мы не считали нужным извиняться за свою преданную любовь к нему. Оригинальные здания неогрек, возведенные на улицах Макдугал и Салливан в 1850-х, в 1920-е были перестроены в неокOLONиальном стиле архитекторами, которых нанял некий мистер Уильям Слоан Коффин, торговавший мебелью и коврами; именно в этот момент задние дворы объединили в общий Сад, ограниченный с севера улицей Бликер, а с юга улицей Хаустон и предназначенный исключительно для частного использования жителей примыкавших к нему домов. Особняк Мюррея выделялся даже здесь, он был во многих отношениях чересчур величествен для Сада, изысканная местная достопримечательность: архитектурная компания “Хоппин энд Коэн”, строившая этот дом с 1901 по 1903 год для известного банкира Франклина Мюррея и его жены Гарриет Ланьер, снесла два прежних здания, стоявшие с 1844 года на земле купца Николаса Лоу. Новый дом строился в манере французского ренессанса, в котором фантазия сочеталась с фешенебельностью – в этом стиле партнеры “Хоппин энд Коэн” обладали значительным опытом, оба учились в парижской Эколь де Боз-Ар, а затем проходили практику в “Макким, Мид и Уайт”. Позднее выяснилось, что Нерон Голден владел этим зданием с начала восьмидесятых. В Саду издавна перешептывались, мол, владелец порой появляется, проводит в особняке день или два в год, но никто из нас не видел его воочию, хотя порой в доме вечером светилось больше окон,

чем обычно, и – это уж совсем редко – мелькала за шторами тень. Местные дети решили, что в доме обитают призраки, и предпочитали держаться подальше.

Таким был этот дом, распахнувший просторные парадные двери в январский день, когда из лимузина “даймлер” вышли Голдены, отец и сыновья. На пороге их встречала приветственная делегация, обе драконши, подготовившие дом к приезду хозяев. Нерон и его сыновья проследовали внутрь и обрели тот мир лжи, в котором всем четверым предстояло жить: не с иголки новенькую сверхсовременную резиденцию богатой иностранной семьи, где они могли бы осваиваться по мере того, как будет наполняться их новая жизнь, умножаться опыт – как будут укрепляться связи с городом – нет! – то место, где Время уже двадцать с лишним лет стояло на месте, безразлично созерцая потертые бидермейеровские кресла, постепенно выцветающие ковры, лавовые лампы в стиле шестидесятых, с кротким недоумением поглядывая на портреты всех правильных людей той эпохи, когда Нерон Голден был много моложе – тут и Рене Рикард, и Уильям Берроуз, Дебора Харри, шишки с Уолл-стрит, старинные семейства из светского справочника, носители священных имен – Люс, Бикман, Очинклосс. До того как он обзавелся этим домом, Нерон владел огромным богемным лофтом с высокими потолками, триста квадратных метров на углу Бродвея и улицы Грейт-Джонс, и в своей далекой юности был допущен на Фабрику, сидел благодарным невидимкой

в уголке для богатеньких мальчиков рядом с Саем Ньюхаусом и Карло де Бенедетти, но это было так давно. В доме оставались сувениры тех дней и позднейших визитов хозяйки в восьмидесятые. Значительная часть мебели хранилась на складах, возвращение этих примет более ранней эпохи напоминало эксгумацию, симулируя преемственность, какой на самом деле в истории этого особняка не было. Вот почему дом всегда казался нам прекрасной фальшивкой. Мы повторяли друг другу слова Примо Леви: “Таков самый первый плод изгнания, разрыва с корнями: нереальное берет верх над реальным”.

Ничто в доме не давало ключа к прошлому хозяев, и эти четверо упорно отказывались сообщать нам о своем происхождении. Слухи неизбежно просачивались, и мы постепенно выяснили всю их предысторию, но до той поры каждый обзаводился собственными гипотезами насчет их тайны, и вокруг их вымыслов сплетались наши. Хотя все они были достаточно светлокожими – оттенки от молочной бледности младшего сына до дубленой кожи старика Нерона, – они с очевидностью не считались “белыми” в традиционном смысле слова. Они говорили на безупречном, с британским акцентом, английском, намекавшим на оксбриджское образование, и поначалу мы в большинстве своем ошибочно сочли, что мультикультурная Англия и есть страна-которую-нельзя-называть, а город – мультикультурный Лондон. Это лондонцы ливанского, армянского или южноазиатского разлива,

гадали мы, а может быть, и родом из европейского Средиземноморья, вот чем объясняется их пристрастие к римлянам. Что же такого ужасного с ними там произошло, каким нестерпимым оскорблениям они подверглись, если так далеко зашли в отречении от своих корней? Ну-ну, для большинства из нас то были чужие дела, и мы соглашались не вникать в это глубже – до тех пор, пока не оказалось невозможным держаться и далее в стороне. А когда это время наступило, выяснилось, что мы задавались неверными вопросами.

Что их свежесочиненные псевдонимы продержались ни много ни мало два президентских срока, что эти вымышленные американские псевдоличности, обитавшие во дворце иллюзий, были приняты нами, их новыми соседями и знакомцами, почти без сомнений, многое говорит нам о самой Америке, и еще больше – о решимости, с какой Голдены обживали свою хамелеонью кожу, становясь в глазах всех окружающих тем, чем им вздумалось назваться. Задним числом только дивишься обширности этого плана, сложной подгонке деталей, требовавших пристального внимания: паспорта, удостоверения личности, водительские права, страховки и номера налогоплательщика – столько подделок и тайных сделок и взяток, – дивишься преодоленным трудностям и ярости или же страху, что побудили осуществить такой сложный, такой величественный и абсурдный план. Потом выяснилось, что старик готовил метаморфозу чуть ли не полтора десятилетия, прежде чем привел шестеренки в движение.

Если б мы знали это раньше, мы бы поняли, что он пытается скрыть нечто весьма существенное. Но мы не знали. Для нас они были просто самопровозглашенный король и его *soi-disant*⁵ принцы, живущие в архитектурной жемчужине нашего квартала.

По правде говоря, они такими уж странными не казались. Каких только имен не берут себе американцы! Стоило полистать телефонный справочник в те времена, когда еще существовали телефонные справочники – сплошная номенклатурная экзотика. Гекльберри! Димсдейл! Ихавод! Ахав! Фенимор! Портной! Драдж! И десятки, сотни, тысячи Голдов, Голдуотеров, Голдштейнов, Файнголдов, Голдберри. Американцы сами постоянно решали, как им зваться и кем быть, отказываясь от былых Гетцев и превращаясь в носящих рубашки Гэтсби и гоняясь за мечтой по имени Дейзи – или же по имени Америка. Сэмюэл Голдфиш (еще один золотой мальчик) сделался Сэмюэлем Голдвином, Аэртзоны стали Вандербильтами, Клеменс – Твенем. И многие из нас, иммигрантов, или же наших родителей или дедов, предпочли оставить прошлое позади, в точности как теперь это решили сделать Голдены, поощряли детей говорить по-английски, а не на старом языке старой страны – говорить, одеваться, вести себя, *жить* по-американски. Старый хлам мы убрали в погреб, выбросили, потеряли. В своих фильмах и в комиксах – и в комиксах, в которые превратились наши фильмы –

⁵ Самозванные (франц.).

мы каждый день чтим и славим саму идею Тайной Идентичности. Кларк Кент, Брюс Уэйн, Чудо-Женщина Диана, Брюс Бэннер, Рейвен Даркхолм – мы любим вас. Тайная Личность была некогда французским изобретением – Фантомас, великий вор, а также Призрак Оперы, – но теперь она пустила глубокие корни в американской культуре. Если наши новые друзья желали быть Цезарями, нас это устраивало. У них отличный вкус, отличные наряды, отличный английский, и они казались эксцентриками не в большей мере, чем, скажем, Боб Дилан или кто-то из прежних соседей. Итак, Голденов приняли, ибо они были приемлемы. Они теперь тоже были американцами.

Но в конце концов все ими выстроенное рухнуло. Вот причины их падения: ссора между братьями, непредвиденная метаморфоза, вторжение в жизнь старика молодой женщины, красивой и решительной, убийство (несколько убийств). И наконец, в той далекой стране, которая не имеет имени, было проведено основательное расследование.

Вот их нерассказанная история, их взорвавшаяся планета Криптон⁶ – душещипательная история, как многие из тех, которые превращают в тайну.

Огромный отель возле гавани любили все, даже те, кто по бедности не мог и надеяться войти в его двери. Все видели его интерьеры в фильмах, в киножурналах и в снах: знаменитая лестница, бассейн, окруженный томными красотками в купальниках, сверкающие коридоры с магазинами и портновскими мастерскими, где на заказ могли за полдня воспроизвести ваш любимый фасон, только решите, из шерсти пошить или из габардина. Все знали, как сказочно умел, бесконечно гостеприимен и глубоко предан своему делу персонал, для которого отель превратился в семью: он почитал начальство как патриарха, а каждого переступавшего порог чествовал словно короля или королеву. Здесь, разумеется, останавливались иностранцы, смотрели из окон отеля на гавань, на прекрасный залив, давший неименуемому городу его имя, дивились огромной армаде морских судов, качавшихся перед их глазами, парусным судам, и моторным, и круизным, всех мыслимых размеров, форм и окраски. Всем здесь была известна история рождения города: как англичане возжелали его именно из-за прекрасной гавани, как договаривались

⁶ Планета Криптон – родина Супермена.

с португальцами, чтобы их принцесса Екатерина вышла замуж за короля Карла II, а поскольку бедняжка Екатерина во все не была красоткой, требовалось чертовски хорошее приданое, тем более что Карл II умел оценить женскую красоту, и таким образом город добавили к приданому, и Карл женился на Екатерине и до конца жизни ею пренебрегал, зато британцы поставили в гавани свой флот и принялись с большим размахом осваивать территорию: соединили Семь Островов, построили крепость, затем город, затем пришла Британская империя. Поскольку город был построен иностранцами, казалось вполне справедливым иностранцев же с почетом и принимать в великолепном дворце-отеле с видом на ту самую гавань, ради которой некогда и создавался город. Но отель предназначался не только для иностранцев, очень уж романтичное это было здание – каменные стены, красный купол, бельгийские люстры над головой, а на стенах и на полах – предметы искусства, мебель, ковры со всех концов гигантской страны, страны-которую-нельзя-называть, так что будь вы молодым человеком, желающим произвести впечатление на свою возлюбленную, вы непременно добыли бы денег, чтобы привести ее в гостиную с видом на море, и там, под поцелуями морского бриза, вы пили бы лаймовый сок или чай и ели бы сэндвичи с огурцом и пирожные, и она бы полюбила вас за то, что вы привели ее в магическое сердце города. И, может быть, на втором свидании вы бы снова пришли сюда, угоститься китайской едой на первом этаже, и это

все решило бы между вами.

После ухода британцев прекрасный старый отель заселяли великие люди города, и всей страны, и всего мира – принцы, политики, кинозвезды, пастыри; самые знаменитые и самые красивые лица города, страны, мира стремились затмить друг друга в коридорах отеля, и он сделался таким же символом города-которого-нельзя-называть, как Эйфелева башня, Колизей или та статуя в гавани Нью-Йорка, чье полное название – *Свобода просвещает мир*.

В некий миф об основании старого гранд-отеля верили почти все жители города-который-нельзя-называть, хотя этот миф не был правдой: это был миф о свободе, о том, как отсюда изгнали британских империалистов, в точности как из Америки. Рассказывалось так: в начале XX века величественный старый господин в феске, богатейший, между прочим, человек в стране-которую-нельзя-называть, попытался однажды войти в другой, еще более древний гранд-отель в том же квартале, но из-за его цвета кожи ему отказали. Величественный старый господин спокойно кивнул, ушел, купил изрядный участок земли на той же улице и построил там самый великолепный, самый красивый отель в городе-который-нельзя-называть в стране-которую-нельзя-называть, и вскоре отбил клиентуру у того отеля, куда его не пустили. Итак, в глазах народа отель сделался символом мятежа, победы над колонистами в их собственной игре, да их попросту сбросили в море, и даже когда было убедительно

доказано, что подобного в реальности не происходило, ничего из-за этого не изменилось, ведь символ свободы и торжества куда сильнее фактов.

Прошло сто пять лет. 23 ноября 2008 года десять боевиков, вооруженных автоматами и ручными гранатами, отплыли из вражеской соседней страны к западному берегу страны-которую-нельзя-называть. В рюкзаках они везли амуницию и сильные наркотики – кокаин, стероиды, ЛСД плюс шприцы. По пути в город-который-нельзя-называть они захватили рыбацкий корабль, бросили свое судно, затащили две надувные лодки на борт рыбацкого корабля и указали капитану, куда держать путь. Поблизости от берега они прикончили капитана и сели в лодки. Задним числом многие удивлялись, как это береговая охрана их не заметила, не попыталась перехватить. Считалось, что берег тщательно охраняется, но в ту ночь случился какой-то сбой. Высадившись 26 ноября, боевики разделились на малые группы и направились к намеченным заранее целям: вокзал, больница, кинотеатр, еврейский центр, популярное кафе, два пятизвездочных отеля. Один из них – тот, что мы описали выше.

Атака на железнодорожный вокзал началась в 21.23 и продолжалась полтора часа. Двое боевиков стреляли во все, что движется, погибло пятьдесят восемь человек. Боевики ушли с вокзала и были в итоге окружены поблизости от городского пляжа, там один из них был застрелен, а второй сдался. Тем временем, в 21.30, другая команда убийц взорвала бен-

зоколонку и принялась расстреливать бросившихся к окнам посетителей еврейского центра. Затем убийцы ворвались в сам центр и оставили там семь трупов. Еще десять человек погибли в кафе. В следующие двое суток примерно тридцать человек было убито в другом отеле.

Отель, который все так любили, подвергся нападению около 21.45. Расстреляв тех, кто находился у бассейна, боевики двинулись в зону ресторанов. Молодая женщина, работавшая в Морском зале – том, куда юноши приводили девушек, чтобы произвести на них впечатление, – помогла многим бежать через служебный выход, но когда в этот зал ворвались боевики, она сама была убита. В ход пошли гранаты, оргия убийств продолжалась, осада длилась три дня. Снаружи находились телекамеры, собралась толпа, кто-то крикнул: “Отель горит!” Языки пламени вырывались из окон верхнего этажа, вспыхнула и знаменитая лестница. Среди оказавшихся в огненной ловушке и сгоревших заживо были жена и дети управляющего отелем. Боевики располагали поэтажными планами, более точными, чем те, что имелись у сил безопасности. Наркотики помогали убийцам обходиться без сна, а ЛСД, которая не является психостимулятором, в сочетании с другими средствами, которые действуют как психостимуляторы, вызвала маниакальное неистовство с галлюцинациями, и боевики громко хохотали, убивая. Снаружи телекомментаторы сообщали о тех постояльцах, кому удалось выбраться, и убийцы смотрели телевизор, чтобы выяс-

нить, какими путями выходят из отеля. К концу осады более тридцати человек было мертво, в том числе многие из персонала.

Голдены, тогда еще носившие старое, позднее отброшенное имя, жили в самом привилегированном районе, на самом привилегированном холме, в огороженном и охраняемом квартале, в большом современном доме с видом на особняки ар-деко, вытянувшиеся вдоль бухты Бэк-бей, куда каждую ночь стремглав ныряло красное солнце. Можно вообразить их там, старика, тогда еще не столь старого, и сыновей, тоже более молодых: первенца, крупнотелого, гениального, неуклюжего, страдающего агорафобией; среднего, склонного бродить по ночам и рисовавшего светские портреты; младшего, в ком бушевала тьма и растерянность; вероятно, в игру с классическими именами старик вовлек их много лет назад, как с малолетства приучал их к мысли, что они не простые люди, они Цезари, полубоги. Римских императоров, а затем византийских, арабы и персы именовали Кайсар-е-Рум, то есть римскими цезарями. И если Рим был Рум, то они, цари нового восточного Рима – Руми. Это побудило их изучать мистика и мудреца Руми, Джалал-ад-Дина Балхи, его цитатами отец и сыновья перебрасывались, словно теннисными мячиками. *Чего ты ищешь, само тебя ищет; ты – вселенная в экстатическом движении; не бойся дурной славы; создай собственный миф; продай свой ум и купи безу-*

мие; подожги свою жизнь, ищи тех, кто раздует твой огонь; или: если желаешь исцелиться, позволь себе заболеть, и так далее, пока им не надоели его афоризмы, и тогда они принялись, друг другу на потеху, сочинять собственные: *хочешь быть богатым, обедней; если кто-то тебя ищет, значит, ты ищешь его; хочешь стоять правильно, стой на голове.*

После чего они перестали быть Руми и сделались на латинский манер Юлиями, сыновьями Цезаря, которые и сами Цезари или станут таковыми. Они принадлежали к старинной семье, которая утверждала, что способна проследить свою генеалогию вплоть до Александра Великого (а тот, по Плутарху, был сыном самого Зевса), так что по меньшей мере могли считаться ровней Юлиам-Клавдиям, происходившим якобы от Юла, сына благочестивого Энея, троянского принца, чьей матерью была богиня Венера. Что же до самого имени “Цезарь”, имеется как минимум четыре его этимологии. То ли первый Цезарь убил *caesai* — так мавры называли слона? То ли у него на голове густо росли волосы — *caesaries*? Или он отличался серыми глазами, *oculis caesiis*? Или его имя происходит от глагола *caedere*, резать, поскольку он был извлечен на свет кесаревым сечением?

— Глаза у меня не серые, мать родила меня обычным путем, — сказал старик, — и мои волосы, хотя пока и сохранились, поредели; слонов я также не убивал. К черту первого Цезаря — предпочту быть последним, Нероном.

— Кто же в таком случае мы? — спросил средний сын.

– Вы – мои сыновья, – пожал плечами патриарх. – Выберите себе имена сами.

Потом, когда настало время уезжать, они обнаружили, что он подготовил им паспорта на эти новые имена, и это их не удивило: их отец был человеком дела.

А вот, как на старой фотографии, жена старика, маленькая печальная женщина, седые волосы уложены в растрепанный пучок, память нанесенных самой себе ран в глазах. Жена Цезаря: обязана быть вне подозрения и прикована к худшей в мире профессии.

Вечером 26 ноября что-то случилось в большом доме, какой-то спор между Цезарем и его женой, она потребовала “мерседес” с шофером и в горе покинула дом, искала утешения у подруг. Так она оказалась в Морском зале любимого всеми отеля, ела сэндвичи с огурцами и пила сильно подслащенный свежавыжатый лаймовый сок, когда галлюцинирующие боевики ворвались, хохоча от счастья, глаза навывкате, психоделические воображаемые птицы над головой, и открыли стрельбу на поражение.

И да, разумеется, страна была Индия, город, разумеется, Бомбей, дом – в том роскошном поселении Уолкшвар на Малабарском холме, и, разумеется, это была атака исламских террористов, отправленных из Пакистана Лашкаре-Тайба, “армией революции”. Сначала напали на вокзал, прежде именовавшийся Терминалом Виктории, VT, а теперь, как все в Бомбее-Мумбаи, переименованный в честь

героя маратхи принца Шиваджи, – потом на кафе “Леопольд” в Колабе, на отель “Оберой Трайидент”, на кинотеатр “Метро”, на больницу “Кама и Алблесс”, на еврейский центр “Шабад” и отели “Тадж-Махал” и “Тауэр”. И да, после трех дней осады и боев мать двух старших мальчиков Голденов (о матери младшего мы еще поговорим) была найдена среди погибших.

Когда старик услышал, что его жена заперта в “Тадже”, колени у него подогнулись, и он бы покатился вниз по мраморным ступеням своего мраморного дома, из мраморной гостиной на нижнюю мраморную террасу, если бы слуга не стоял достаточно близко, чтобы его подхватить, но в ту пору слуги были повсюду. Старик остался стоять на коленях, уткнувшись лицом в ладони, его сотрясали рыдания столь громкие, судорожные, словно рвался наружу заточенный в нем зверь. Все время, пока продолжался бой, он оставался в этой молитвенной позе на верхней площадке мраморной лестницы, отказываясь от еды и сна, колотя себя в грудь кулаком, словно профессиональный плакальщик на похоронах, и обвиняя себя. Я не знал, что она поедет туда, восклицал он, как я не догадался, нельзя было ее отпускать. В те дни воздух в городе казался темным, как кровь, и даже в полдень темным, как зеркало, старик увидел в нем свое отражение, и оно ему не понравилось, и так велика была сила его видения, что сыновья видели то же самое, и когда пришла дурная весть, отрезавшая их от прежней жизни, с воскресными про-

гулками вдоль ипподрома в компании членов старинных и славных семей Бомбея и нуворишей, со сквошем и бриджем, бассейном и бадминтоном и гольфом в клубе “Уиллингдон”, с киноактрисульками и джазом – когда все это ушло навеки, утонуло в океане смерти, – они согласились с тем, что пожелал сделать отец, то есть оставить этот дом из мрамора и разбитый, разодранный город, где стоял этот дом, и всю эту грязную, коррумпированную, больную страну, все, что у них было и что отец внезапно или не так уж внезапно возненавидел, они согласились забыть каждую подробность того, что этот город и дом для них значил и кем они здесь были и что утратили: женщину, чей муж накричал на нее и тем самым отправил навстречу року, женщину, чьи сыновья ее любили, а пасынок однажды так гнусно унизил, что она пыталась покончить с собой. Они начисто вытрут доску, обретут новые личности, переберутся на другой конец света и станут другими, не теми, кем были. Они ускользнут из исторического в личное, в Новом Свете им только личное и нужно, только этого они добиваются: стать отдельными, индивидуальными, одинокими, чтобы каждый на свой лад заключал договор с повседневной, внешней историей и внешним миром – приватно. И ни одному из них в голову не пришло, что это решение родилось из чудовищной веры в свою привилегированность, из убеждения, что они могут вот так запросто выйти из вчерашнего дня и начать завтрашний, словно оба дня не принадлежат одной неделе, выйти за пределы памяти, кор-

ней, языка и расы в страну самодельного Я, иными словами – в Америку.

Как же мы оклеветали ее, покойницу, когда в своих перебегах объясняли ее отсутствие в Нью-Йорке супружеской изменой. Ее отсутствие, ее трагедия придавали смысл присутствию ее семьи среди нас. Она была моралью этой истории.

Когда умерла жена императора Нерона Поппея Сабина, он сжег на похоронах десятилетний запас аравийского ладана. Однако в случае Нерона Голдена все благоволия мира не смогли бы заглушить скверный запах.

Юридический термин *бенами* выглядит почти что французским, *ben-ami*, сбивая с толку несведущих, наводя их на мысль, что это слово означает “добрый друг”, *bon-ami*, или же “любимый”, *bien-aimé*, что-то в таком роде. Но на самом деле это слово персидского происхождения и корни в нем не *ben-ami*, а *bé-námi*. *Bé* – приставка “без”, а *nám* – “имя”, то есть *benami* – “безымянный”, “анонимный”. В Индии *benami* называются транзакции недвижимости, в которых покупатель, от имени которого совершается сделка, служит всего лишь прикрытием для реального владельца. На старом американском сленге в значении *benami* используется *beard* – “борода”.

В 1988 году правительство Индии приняло Закон о транзакциях бенами (об их запрете), который не только объявил такие сделки юридически недействительными, но и дал го-

сударству право конфисковать анонимную недвижимость. Впрочем, оставалось много лазеек, и одним из средств борьбы с этими лазейками предполагалось введение системы “Аадхаар”. Аадхаар – двенадцатизначный номер социально-го страхования, присваиваемый каждому гражданину Индии пожизненно. При любых сделках с недвижимостью и финансовых транзакциях вменяется указывать этот номер, и таким образом остается электронный след от любой деятельности граждан. Тем не менее тот человек, которого мы знали под именем Нерон Голден, к тому времени уже более двадцати лет как американский гражданин и отец американских граждан, успел обойти новое законодательство. Когда произошло то, что произошло, и все вышло на свет, мы узнали, что дом Голденов принадлежал даме почтенного возраста, старшей из двух смотрительниц особняка, и никаких иных юридических документов не существовало. Но случилось то, что случилось, и даже стены, столь тщательно возводившиеся Нероном, обрушились, и чудовищный размах его преступности предстал перед нами, обнаженный в ясном свете дня. Это случилось в будущем. А пока он был просто Н. Ю. Голден, наш богатый и – как мы убедились – вульгарный сосед.

В укромном, заросшем травой квадрате Сада я ползал прежде, чем начал ходить, ходил прежде, чем начал бегать, бегал прежде, чем научился танцевать, танцевал прежде, чем пел, и я танцевал и пел, пока не научился тишине и молчанию и не замер неподвижно, прислушиваясь к сердцу Сада, где летними вечерами сияли светлячки, и не сделался, по крайней мере в собственных глазах, художником. Точнее говоря, будущим сочинителем фильмов. В моих мечтах – режиссером или даже, как некогда торжественно выражались, “автором-сценаристом”.

До сих пор я скрывался за формой первого лица множественного числа и, возможно, буду и впредь, но пора уже представиться. Вот я. Но в каком-то смысле я не особо отличаюсь от моих персонажей, ведь они тоже скрывались от семьи, чье прибытие в мой уголок мира снабдило меня великим проектом, который я до той поры с возрастающим отчаянием себе подыскивал. Если Голдены основательно вложились в истребление своего прошлого, то я, взявший на себя задачу быть их хронистом и, вероятно, их *имажинатором* – такой термин был выдуман для тех, кто изобретает аттракционы в тематических парках Диснея, – я по натуре склонен держаться в тени. Как говорит Ишервуд в зачине “Прощай, Берлин”? “Я – камера с открытым объективом, совер-

шенно пассивная, не мыслящая – только фиксирующая”⁷. Но так было тогда, а ныне век смарт-камер, которые мыслят за нас. Может быть, я такая смарт-камера. Я записываю, но я не вовсе пассивен. Я мыслю. Я что-то меняю. Возможно, даже изобретаю. Быть имагинатором в конце концов совсем не то, что быть буквалистом. Звездная ночь на картине Ван Гога не похожа на фотографию звездной ночи, и тем не менее это великолепное отображение звездной ночи. Давайте сразу договоримся: я предпочитаю фотографии живописи. Я камера, которая рисует.

Зовите меня Рене. Мне всегда нравилось, как рассказчик в “Моби Дике” не открывает нам свое имя на самом деле. “Зовите-меня-Измаил” – в “реальности”, то есть в жалком Настоящем, что лежит за пределами великой Реальности романа, его могли звать – да как угодно. Он мог быть Брэд, Триг, Орнетт, Шуйлер, Зик. Он мог быть даже Измаилом. Мы не знаем, и, подобно моему великому предшественнику, я предпочту не говорить прямо: “меня зовут Рене”. Зовите меня Рене – вот все, что я могу вам предложить.

Идем дальше. Оба мои родителя были университетские преподаватели (вы замечаете в их сыне наследственную профессорскую нотку?), они купили наш дом на углу Салливан и Хаустон еще в юрский период, когда все было дешево. Представляю вам родителей: Гейб и Дарси Унтерлинден, состоящие в долгом счастливом браке – не только почтен-

⁷ Перевод А. Курт.

ные ученые, но и любимые учителя и, подобно великому Пуаро (персонаж вымышленный, но, как говорит Миа Фэрроу в “Пурпурной розе Каира”, нельзя иметь все сразу)... бельгийцы. В прошлом, спешу уточнить, бельгийцы, давно уже и навсегда американцы. Гейб упорно сохранял своеобразный, утрированный и по большей части искусственный общеевропейский акцент, Дарси прекрасно чувствовала себя в шкуре янки. Профессора играли в пинг-понг (они бросили вызов Нерону Голдену, узнав о его любви к этому спорту, и он разбил их в пух и прах, хотя оба они играли прилично). Они все время обменивались поэтическими цитатами. Они разбирались в бейсболе и, хихикая, прилипали к экранам во время реалити-шоу, любили оперу, вечно планировали общую, так и не написанную монографию об этом жанре под названием “Цыпочка должна умереть”.

Они любили свой город за несходство со всей страной.

– Рим не есть Италия, – наставлял меня отец, – Лондон не есть Англия, и Париж не есть Франция, и здесь, где мы сейчас, здесь не Соединенные Штаты Америки. Здесь есть Нью-Йорк.

– Между метрополией и периферией, – вставляла примечание мама, – вечное отчуждение, вечный ресентимент.

– После одиннадцатого сентября Америка притворяется, будто любит нас, – говорил папа. – Надолго ли такая любовь?

– Очень, на хрен, ненадолго, – подхватывала его мысль

мама (она часто вставляла ругательства и уверяла, что сама того не замечает. Сами высказывают).

– Это ессть пузырь, как все теперь говорят, – продолжал папа. – Это ессть как в фильме с Джимом Керри, только в масштабах большого города.

– “Шоу Трумана”, – спешила с пояснением мама. – И даже не весь город в пузыре, потому что пузырь надувается деньгами, а деньги распределены неравномерно.

В этом их суждение отличалось от общепринятого, согласно которому наш пузырь состоял из прогрессивных программ, или же они, как добрые постмарксисты, верили, что либерализм обусловлен экономически.

– Бронкс, Квинс, может быть, не совсем в пузыре, – рассуждал отец. – Стейтен-Айленд *безусловно* не в пузыре.

– Бруклин?

– Бруклин. Да, может быть в пузыре. Частями.

– Бруклин прекрасен, – начинал отец фразу, и они в унисон заканчивали свою любимую, сто раз повторенную штуку: – Но он ессть в Бруклине!

– Суть в том, что мы любим свой пузырь, и ты его любишь, – говорил мне отец. – Мы не хотим жить в красном штате⁸ и ты – тебе конец пришел бы, скажем, в Канзасе, где не верят *в эволюцию*.

– По правде говоря, Канзас – доказательство против теории Дарвина, – мурлыкала мама. – Видимо, не всегда выжи-

⁸ “Красные” штаты голосуют за республиканцев.

вают самые приспособленные. Порой вместо них остаются самые никчемные.

– А еще сумасшедшие ковбои, – продолжал отец, и мама подхватывала:

– Мы бы не смогли жить *в Калифорнии*.

(В этот момент понятие пузыря усложнялось, к экономическому противопоставлению добавлялось культурное, правый берег и левый берег, Бигги-но-не-Тупак⁹. Но их вроде бы не смущали противоречия собственной позиции.)

– Вот кто ты ессть, – вменял мне отец. – Мальчик в пузыре¹⁰.

– Настали дни чудес и дива, – цитировала мама. – И не плачь, малыш, не плачь, на хрен, не плачь.

У меня было счастливое детство с моими профессорами. В центре пузыря был Сад, Сад был сердцем пузыря. Я вырос в заколдованном мире, укрытом от зла, обмотанный шелковым коконом городского либерализма, отсюда моя отвага, отвага невинности, хотя я и знал, что за пределами этих чар черные ветряные мельницы ждут дурака-донкихота. (И все же “единственное оправдание привилегиям – обратить их на

⁹ Кристофер Уоллес (B. I. G., Бигги, 1972–1992) – исполнитель хип-хопа, лидер Восточного побережья, противостоявший Тупак Шакуру (1971–1996), также исполнителю хип-хопа и лидеру Западного побережья. Оба рэпера погибли в перестрелках, после чего Война Побережий закончилась.

¹⁰ “Мальчик в пузыре” (*“The Boy in the Bubble”*) – песня Пола Саймона (1986), припев которой цитирует в следующей реплике мать. Сама песня апокалиптична: “Дни чудес и дива” – это взрывчатка в детской коляске и т. п.

пользу”, учил меня отец.) Я ходил в школу Литтл-Ред¹¹, потом учился в университете на площади Вашингтона¹². Вся жизнь в пределах дюжины кварталов. Мои родители все-таки знали больше приключений. Отец учился в Оксфорде на фулбрайтовскую стипендию, а по окончании вместе с британским приятелем проехал в “мини-тревеллере” Европу и Азию – Турцию, Иран, Афганистан, Пакистан, Индию – в тот вышеупомянутый юрский период, когда по Земле бегали динозавры и можно было, не лишившись головы, совершить подобное путешествие. Вернувшись, он счел, что на этом с него большого мира хватит, и сделался, вместе с Берроузом и Уоллесом¹³, одним из трех главных историографов города Нью-Йорка, соавтором, наряду с этими двумя достойными джентльменами, многотомной классики, “Метрополиса”, полной и окончательной истории родного города Супермена, где мы все жили, и где каждое утро на порог дома падала “Дейли плэнет”, и где через много лет после старика Супера обосновался Спайдермен – поблизости, в Квинсе. Когда мы вместе гуляли по Виллидж, он указывал мне, где жил некогда Аарон Берр, а как-то раз, стоя перед мультиплексом на углу Второй авеню и Тридцать второй улицы, он рассказал мне

¹¹ Литтл-Ред (основана в 1921 г., переехала на Бликер-стрит в 1932 г.) считается первой прогрессистской школой Нью-Йорка, ориентированной на критическое мышление, сотрудничество и социальную ответственность.

¹² Т.е. в Нью-Йоркском университете.

¹³ Эдвин Берроуз и Майк Уоллес, авторы книги “Тотэм: история Нью-Йорка до 1898 года”.

полную версию высадки в бухте Кип¹⁴ и как Мэри Линдли Мюррей спасла американских солдат Израэля Патнэма, попросив британского генерала Уильяма Хоува прекратить погоню за беглецами, а лучше зайти к ней на чай в ее великолепный дом Инкленберг на вершине холма, который потом будет назван ее именем.

Моя мама была на свой лад столь же бестрепетна. В молодости она работала в системе здравоохранения, возилась с наркоманами и кое-как выживающими фермерами Африки. После моего рождения ей пришлось сузить поле деятельности: сначала она сделалась экспертом по воспитанию малолетних, а со временем профессором психологии. Наш дом на Салливан в дальнем от особняка Голденов конце Сада был заполнен любимым хламом, накопившимся за их жизни – протертыми персидскими коврами, резными деревянными африканскими статуэтками, фотографиями, картами и гравюрами первых “Новых” городов на острове Манхэттен – и Нового Амстердама, и Нового Йорка. Имелся уголок, посвященный знаменитым бельгийцам, оригинальная иллюстрация к “Тинтину” висела рядом с Дианой фон Фюрстенберг (портрет работы Уорхола, трафаретная печать) и знаменитым голливудским снимком красавицы-актрисы из “Завтрака у Тиффани” с длинным мундштуком в руках – прежняя мисс Эдда ван Хеестра, впоследствии обожаемая многими

¹⁴ Высадка в бухте Кип ([15 сентября 1776 года](#)) – британская операция в ходе Американской войны за независимость.

под именем Одри Хепберн. А под ними – первое издание “Воспоминаний Адриана” Маргерит Юрсенар на маленьком столике рядом с фотографиями моего тезки Магритта в его студии, велогонщика Эдди Меркса и Поющей Монахини¹⁵ (Жан-Клод ван Дамм не был допущен в собрание).

Несмотря на это маленькое святилище Бельгии, они без запинки критиковали страну своего исхода, если требовалось ответить на вопрос.

– Король Леопольд Второй и Свободное государство Конго, – могла сказать мама. – Худшие колонизаторы в истории, самая грабительская система в колониальной истории.

– А сегодня, – добавлял отец, – Моленбек¹⁶: европейский центр фанатичного ислама.

На почетном месте, на каминной полке гостиной, уже не первое десятилетие лежала никогда не использовавшаяся пачка гашиша, все еще в оригинальной обертке из дешевого целлофана с официальной печатью афганского правительства в форме луны, подтверждающей качество. В Афганистане при короле гашиш был разрешен и продавался в трех различавшихся по цене и качеству фасовках – афганское “золото”, “серебро” и “бронза”. Но то, что мой отец, ни-

¹⁵ Жаннин Деккерс (1933–1985) постриглась под именем Люк-Габриэль... Благодаря песням и фильму “Поющая монахиня” (1965) обрела популярность, вернулась в мир и пела под псевдонимом Люк Доминик.

¹⁶ Моленбек-Сен-Жан – район Брюсселя, где около 30 % составляют мигранты. Здесь прятались некоторые из наиболее опасных участников последних европейских терактов.

когда не баловавшийся даже травкой, держал на почетном месте в центре каминной доски, было редкостью, легендарной, почти оккультной.

– “Афганская Луна”, – пояснял отец. – Если попробуешь, она откроет третий гласс, шишковидную железу посреди лба, и ты станешь ясновидящим, мало какой секрет утаится от тебя.

– Почему же ты никогда не пробовал? – спрашивал я.

– Потому что мир бесс тайны подобен картине бесс тени, – отвечал он. – Когда видишь слишком много, не видишь нитшево.

– Он имеет в виду, – растолковывала мама, – что а) мы верим в необходимость пользоваться разумом, а не взрывать его, б) этот гашиш, скорее всего, с добавками, он, как говорили хиппи, *разбодяжен* какими-нибудь ужасными галлюциногенами, и в) есть вероятность, что я была бы решительно против. Не знаю. Он никогда не подвергал меня такому испытанию.

“Хиппи”. Таким тоном, словно у нее собственных воспоминаний о семидесятых не было, словно она никогда не носила дубленку или бандану и не мечтала сделаться Грейс Слик¹⁷.

Кстати, “Афганского Солнца” не существовало. Солнцем Афганистана был король, Захир Шах. А потом пришли русские, а потом пришли фанатики, и мир изменился...

¹⁷ Грейс Слик (род. 1939) – американская рок-певица, звезда психоделики.

Но “Афганская Луна”... Вот что светило мне в самые темные минуты жизни, и моя мама уже не могла ничего сказать против.

И были книги, разумеется, книги, словно чума, заражавшая каждый уголок нашего неряшливого счастливого дома. Я стал писателем – потому, разумеется, что жил со всеми этими предками в одном доме, и, может быть, выбрал кино, а не романы или биографии, потому что понимал, сколь безнадежно состязаться с этим старичьем. Но пока Голдены не переехали в большой дом на Макдугал, по диагонали от нашего в другом углу Сада, моя постстуденческая креативность прокисала в бездействии. С безграничной самонадеянностью юности я замышлял мощный фильм или даже секвенцию вроде “Декалога”¹⁸, о миграции и трансформации, страхе, угрозе, рационализме, романтизме, трансгендерном переходе, о городе, об отваге и трусости, панорамный портрет моей эпохи, никак не меньше. При этом я предпочитал работать в стиле “оперативного реализма”, как сам с собой это называл, и сделать своим сюжетом конфликт между Я и Другим. Я пытался создать вымышленный портрет своего квартала, но в истории отсутствовала движущая сила. Мои родители не обладали обреченным героизмом, необходимым для ведущей роли в сюжетах оперативного реализма, не отличались им

¹⁸ “Декалог” (1988–1990) – цикл из десяти фильмов польского режиссера Кшиштофа Кесьлёвского.

и соседи (Боб Дилан давно съехал). Мой знаменитый преподаватель кинорежиссуры (афро-американская-кинозвезда-в-красной-бейсбольной-кепке), прочитав первые наброски сценария, пренебрежительно заявил:

– Красиво пишешь, парень, но где же кровь? Все тихо-мирно. А где мотор? Может, пусть в твоём клятом Саду летающая тарелка приземлится. Может, дом надо взорвать. Пусть хоть что-то бухнет. И погромче.

А я не знал как. Но потом появились Голдены, моя летающая тарелка, мой мотор, моя бомба. Я ощутил волнение юного художника, чей сюжет прибыл сам собой, словно подарок в рождественской посылке. И я был благодарен.

Наставал век нон-фикшн, говорил мне отец.

– Может быть, не старайся больше нитшево выдумывать. Спроси в любом книжном магазине, – говорил он мне, – книги из разделов нон-фикшн продаются быстро, а выдуманные истории лежат и лежат.

Но то в мире книг. В фильмах же царила эпоха супергероев. По части нон-фикшн у нас были полемические заявления Майкла Мура, “Резчик Штайнер” Вернера Херцога, “Пина” Вима Вендерса и некоторые еще фильмы, но большие бабки крутились в фантастике. Мой отец хвалил мне идеи и труды Дзиги Вертова, советского документалиста, презиравшего литературщину и драму. Его стиль съемок, его “Кино-глаз”, был нацелен честолюбиво на эволюцию челове-

ства к более высокой, свободной от вымысла форме жизни, “от ковыряющегося гражданина через поэзию машины к совершенному электрическому человеку”. Уитмен его одобрил бы. Возможно, Ишервуд-я-камера тоже. Но я противился. Я предоставлял более высокие формы своим родителям и Майклу Муру. Я хотел выдумывать мир.

Пузырь хрупок, и часто по вечерам мои профессора с тревогой обсуждали, не лопнет ли он. Их беспокоила политкорректность, они видели, как во время телешоу двадцатилетняя студентка орет на их коллегу, утыкаясь ей лицом почти в лицо – понимаете ли, у них разные точки зрения на журналистику в пределах университета. Другого коллегу в другом телешоу уделали за то, что он не запретил костюм Покахонтас на Хэллоуин, третий коллега вынужден был отказать по меньшей мере от одного семинара, потому что не оберег “внутреннюю безопасность” студентки от вторжения идей, которые эта студентка сочла слишком “тревожными” для своего юного разума; еще один коллега отверг петицию студентов, требовавших убрать из кампуса статую президента Джефферсона, разоблаченного рабовладельца; коллегу освеживали студенты из семей традиционных евангелических христиан, когда он предложил им прочесть роман-комикс известной художницы-лесбиянки; еще один коллега вынужден был отменить постановку “Монологов вагины” Ив Энгслер, потому что, определяя женщин как людей с вагинами, эта пьеса дискриминировала тех, кто определял

себя как женщины, но не обладал вагинами; их коллеги отбивались от попыток студентов “ниспровергать” отпавших от ислама, поскольку их мнения были оскорбительны для тех, кто оставался в исламе. Родителям казалось, что молодежь становится склонна к цензуре, пытается что-то запрещать, ограничивать и сдерживать. Как это случилось, спрашивали они меня, отчего разум молодого американца так сузился, молодежь начинает нас пугать.

– Не ты, разумеется, дорогой, как можно бояться тебя, – уточняла мама.

А папа возражал:

– Но боимся за тебя. С этой бородкой а-ля Троцкий, на которой ты почему-то настаиваешь, мне кажется, ты готовая мишень для ледоруба. Не ездь в Мехико-Сити и уж во всяком случае избегай района Койоакан¹⁹, вот мой совет.

По вечерам они сидели каждый в своем круге желтого света, с книгой на коленях, погруженные в слова. Словно фигуры с картины Рембрандта, “Два философа в глубоком размышлении”, они представляли собой большую ценность, чем любое полотно, – наверное, они были представителями последнего такого поколения, а мы, последыши, пожалеем, что не научились большому, пока они были живы.

Как я тоскую по ним – словами не выразить.

¹⁹ Лев Троцкий был убит ледорубом в районе Койоакан (1940).

Шло время. Я обзавелся подружкой, потерял ее, приобрел другую, с ней тоже расстался. Мой тайный киносценарий, самая требовательная моя любовь, возмущался такими попытками обзавестись отношениями на стороне, угрюмился, прятал от меня свои секреты. Возраст “под тридцать” надвигался стремительно, а я, словно полуобморочный герой с канала “Никлодеон”, беспомощно валялся на путях. (Мои начитанные родители, конечно, предпочли бы, чтобы я вместо этого образа сослался на кульминационную сцену в “Бесконечном путешествии” Форстера.) Сад составлял мой микрокосм, и каждый день создания моего воображения глядели на меня из окон домов по Макдугал и Салливан, их запавшие глаза молили, чтобы я дал им жизнь. У меня имелись обрывки всех сюжетов, но общая форма этого труда от меня ускользала. В доме №XX по Салливан, на первом этаже с выходом в Сад я разместил бирманского – правильнее, мьянманского – дипломата, У Лну Фну, представителя при ООН, сердце профессионала разбито поражением в самой долгой за всю историю битве претендентов на пост генерального секретаря, двадцать девять раундов голосования не выявили победителя, а в тридцатом он проиграл сопернику из Южной Кореи. Через этого персонажа я планировал исследовать геополитику, наглядно показать, как некоторые авторитарные ре-

жимы давят на ООН, добиваясь закона об оскорблении религиозных чувств, вникнуть в противоречивый вопрос об американском вето в защиту Израиля и обеспечить появление в Саду Аун Сан Су Чжи собственной персоной. Я также знал историю личной катастрофы У Лну Фну: его жена умерла от рака, и я подозревал, что двойной удар может заставить его сойти с праведного пути и в конце концов он будет уничтожен финансовым скандалом. Когда мне пришла в голову эта мысль, человек с запавшими глазами, смотревший на меня из окна дома №XX по Салливан, разочарованно покачал головой и отступил в тень. Никто не желает быть плохим парнем.

Мое воображаемое сообщество было национально пестрым. В № 00 по Макдугал жил другой одиночка, аргентино-американец, которому я дал временное рабочее имя “мистер Аррибиста”, то есть “парвеню”. О нем, каким бы ни было в итоге его имя, Марио Флорида или Карлос Херлингем, я составил для себя такой краткий сценарий:

Аррибиста, недавно получив гражданство, плюхается в великую страну – “его страну”, ликует он – как человек, прошедший к обетованному океану долгий путь по пустыне, бросается в волны, даже не умея плавать. Он верит, что вода удержит его на плаву, и он прав. Он не тонет, во всяком случае не тонет сразу.

И тут опять-таки требовалось развить сюжет.

Всю свою жизнь Аррибиста был квадратным колышком,

который, обливаясь потом, протискивался в круглое отверстие. Что же наконец — он отыскал квадратную дырку, в которую квадратно уместился, или же долгое путешествие скруглило его? (Если верно второе, то путешествие было бессмысленным или, во всяком случае, под конец он мог бы прижиться там, откуда ушел. Он лично предпочитал образ квадратного отверстия, и перпендикулярная система улиц вроде бы соответствовала такой реальности.)

Возможно, из-за моих собственных провальных романов Аррибиста, как и джентльмен из ООН, был покинут своей возлюбленной.

Его жена также была вымыслом. Или много лет назад она превратилась из факта в фантазию, покинула его ради другого, более молодого и красивого и во всех отношениях более совершенного, чем бедняга Аррибиста, который, он сам хорошо это знает, лишь посредственно укомплектован всем тем, что нравится женщинам — внешностью, умением поддержать разговор, внимательностью, теплом, честностью. *L'homme moyen*²⁰, хватающийся за неточные изношенные выражения вроде этого в попытке себя описать. Человек, кутающийся в старые знакомые слова, будто в твид. Человек без свойств. Нет, не так, поправляет себя Аррибиста. У него есть свойства, напоминает он себе. Во-первых, он склонен, когда теряется в потоке сознания, принижать себя, в этом смысле он к себе несправедлив. Вообще-то он вполне выда-

²⁰ Обыкновенный человек (франц.).

ющийся человек, выдающийся по меркам своей новой страны, которая поощряет всех быть выдающимися и не норовит подрубать всех, кто головой выше других. Аррибиста – выдающийся, ведь ему удалось выделиться. Жизнь его хорошо сложилась, даже отлично. Он богат. Его история – история успеха, история весьма значительного успеха. Это американская история.

И так далее. Воображаемые сицилийские аристократы в доме точно напротив Голденов – временно Вито и Бланка Тальябуэ, барон и баронесса Селинунтские – все еще оставались для меня загадкой, но я был влюблен в их генеалогию. Воображая, как они выходят по вечерам, всегда одеты по последней моде, отправляются на бал в музей Метрополитен, на премьеру фильма в “Зигфелд” или на новую выставку нового молодого художника в новехонькую галерею Вест-Сайда, я думал об отце Вито Бьяджо, который

в жаркий день где-то на южном побережье Сицилии обходит широкие просторы семейного имения, под названием Кастельбьяджо. Мужчина в расцвете лет, покрытый легким загаром, придерживает за ствол лучший свой обреза, приклад покоится на правом плече. Широкополая шляпа, защищающая от солнца, старая бордовая куртка, поношенные бриджи цвета хаки и прогулочные ботинки, начищенные до полуденного блеска. У него есть все причины верить, что жизнь удалась. Война в Европе закончилась, Муссолини и его девку Клару Петаччи вздернули на мясницкий крюк,

возвращается естественный порядок. Барон оглядывает стройные ряды тяжелых от урожая лоз, словно маршал, принимающий парад, и быстро шагает сквозь леса и ручьи, вверх в гору и вниз в долину и снова в гору, направляясь на любимое место, небольшой выступающий высоко над его землями мыс, где барон может усесться, скрестив ноги, словно тибетский лама, и медитировать о красоте жизни, озирая поверх мерцающего моря дальний горизонт. Последний день его свободы – ибо мгновением позже он заметит браконьера с полным ягдташем на плече, без колебаний поднимет обрез и пристрелит насмерть нарушителя своих границ.

После этого выяснится, что погибший юнец состоял в родстве с доном местной мафии, и дон мафии потребует, чтобы Бьяджо заплатил за свое преступление жизнью, начнутся подстрекательства и протесты, делегации от политических властей и от церковных станут убеждать дона мафии, что убийство местного синьора будет, так сказать, событием чрезвычайно заметным, чрезвычайно трудно будет закрыть на него глаза, это причинит дону мафии чересчур много неудобств, так что ради собственного спокойствия не лучше ли ему отказаться от этого требования. И в итоге дон смягчится:

Мне известно все об этом бароне Бьяджо, о его, хмм, о его номере люкс в гранд-отеле “Дес Пальмес” в Палермо – какой номер? 202 или 204 или оба

вместе? – он ездит туда проветриться и с женщинами поразвлечься, хмм? Это хорошо, это наше место, мы туда ездим по тем же причинам, так что если он сегодня же туда переберется и останется до конца своей гребаной жизни, мы не станем убивать маленького засранца, но стоит ему хоть одной ногой ступить за порог отеля, пусть помнит, что все коридоры полны там наших ребят и шлюхи тоже работают на нас, не успеет его нога коснуться земли на площади перед отелем, он будет мертв, окровавленная башка с пулей во лбу грохнется оземь прежде, чем успеет опуститься нога. Хмм? Хмм? Передайте ему.

В сценариях и заявках на сценарии, которые я носил в голове, как Петер Кин в “Ослеплении” Канетти носил в голове целые библиотеки, “барон в сыюте” оставался пленником “Дес Пальмес” в Палермо до своего смертного часа еще сорок четыре года. Он устраивал вечеринки и спал со шлюхами, ему каждый день доставляли еду с семейной кухни и вино из подвала, его сын Вито был зачат там в один из нечастых визитов многострадаальной супруги барона (однако рожден, как предпочла многострадаальная супруга, в ее спальне в Ка-стельбьяджо), а когда барон умер, его гроб вынесли из парадной двери ногами вперед, в окружении почетной стражи, состоявшей главным образом из персонала отеля и нескольких шлюх. Вито, разочаровавшись в Палермо, в мафии и в собственном отце, в итоге обзавелся домом в Нью-Йорке и намеревался стать полной противоположностью отцу: всю

жизнь хранить верность своей жене Бланке, однако ни одного вечера не проводить дома наедине с ней и детьми.

Боюсь, я безо всякой нужды создал у читателя жалкое впечатление о себе. Я бы не хотел, чтобы вы представляли меня лентяем и неудачником, бременем на шее у родителей, человеком, который и на второй половине третьего десятка не сумел найти себе реальную работу. На самом деле я тогда, как и теперь, почти не выходил в город по вечерам, я вставал и встаю рано утром, хотя пожизненно обречен на бессонницу. Я также состоял (состою и поныне) в группе молодых киношников – мы вместе учились в высшей школе, – которая под руководством энергичной американки индийского происхождения, продюсера-сценариста-режиссера по имени Сучитра Рой, уже создала целый ряд музыкальных видео, интернет-контент для *Condénaste* и *Wired*, документальные фильмы, которые прошли по некоммерческому и по кабельному телевидению, и три хорошо принятых постановочных фильма, снятых за счет независимого финансирования (все три попали на “Сандэнс” и SXSW²¹, и два из них выиграли приз зрительских симпатий). Мы убедили актеров первого ряда принять в них участие для масштаба: Джессику Честейн, Киану Ривза, Джеймса Франко, Оливию Уайлд. Я помещаю здесь это краткое резюме, чтобы читатель поверил:

²¹ SXSW – *South by Southwest*, “Юго-юго-восток” – фестиваль музыки, фильмов и СМИ в Остине (Техас).

он попал в хорошие руки, в руки надежного, а не лишнего опыта рассказчика. Это важно, ведь мое повествование становится все более зловещим. Также я представляю здесь своих коллег, поскольку их постоянная критика моего профессионального проекта была и остается ценной для меня.

Все то долгое жаркое лето мы собирались на ланч в любимом итальянском ресторане на Шестой авеню, чуть ниже Бликер, усаживались за уличный столик, хорошенько намазавшись кремом от загара и накрывшись широкими шляпами, и я рассказывал Сучитре, чем занят, а она задавала трудные вопросы.

– Я понимаю, что этот “Нерон Голден” должен быть человеком-загадкой, это хорошо, я согласна, что это правильно, – сказала она однажды. – Но какой вопрос задает этот персонаж, на какой вопрос должна в итоге ответить эта история?

И я сразу же увидел ответ, хотя до той минуты даже самому себе в этом не признавался.

– Вот какой вопрос, – сказал я ей, – вопрос о природе зла.

– В таком случае, – сказала она, – рано или поздно, и чем раньше, тем лучше, маска начнет соскальзывать.

Голдены были моим сюжетом, но его могли украсть. Любители раскапывать грязь могли увести у меня то, что принадлежало мне по божественному праву я-был-тут-первым, по скваттерскому праву захваченной мной территории. Это я дольше всех раскапывал тут грязь, чувствуя себя почти что

А. Дж. Веберманом наших дней (Веберман, *soi-disant* “мусоролог” Виллиджа 1970-х, копался в отбросах Боба Дилана, чтобы таким образом выяснить тайный смысл его стихов и подробности личной жизни, и хотя я никогда не заходил так далеко, признаюсь, я подумывал наброситься на мусор Голденов, уподобившись коту в поисках рыбьих голов).

В такие времена мы живем – люди прячут свою правду, возможно, даже от самих себя, и живут во лжи, пока ложь непредсказуемым образом не разоблачит правду. И теперь, когда столько скрывается, когда мы живем на поверхности, среди самопрезентаций и самофальсификаций, тот, кто взыскует истину, должен ухватить заступ, разбить корку поверхности и увидеть текущую внутри кровь. Однако шпионить не так-то просто. Как только Голдены заселились в этом роскошном доме, старика охватил навязчивый страх сделаться жертвой шпионов или искателей истины. Он обратился к специалистам по безопасности, весь его дом прочесали на предмет подслушивающих устройств, к тому же, обсуждая семейные дела с сыновьями, он переходил на их “секретные языки”, наречия древнего мира. Он был уверен, что все мы суем нос в его дела, и мы, конечно, совали – на манер невинных деревенских сплетников, следуя естественному инстинкту обычных людей у приходского колодца или у современного кулера, мы пытались встроить новые фрагменты в мозаику нашей жизни. Я был из всех самым пытливым, но Нерон с типичной для одержимого слепотой как

раз этого-то и не видел, считая меня – о, как ошибочно – бездельником, который не сумел составить себе состояния и с которым по этой причине считаться нет необходимости, можно отмахнуться, стереть его из своего поля зрения. Это идеально соответствовало моим задачам.

Оставалась одна возможность, которая, должен признать-ся, не приходила в голову ни мне, ни кому-либо другому из нас, даже в наш напряженный параноидальный век. Поскольку они откровенно и в больших количествах поглощали алкоголь, не смущались в присутствии женщин с непокрытыми волосами и не соблюдали обрядов какой-либо из мировых религий, нам и в голову не приходило, что они могут оказаться... ой-ой-ой... мусульманами. Или, по меньшей мере, мусульманских корней. Это мои родители доискались.

– В век информации, дорогой мой, – с заслуженной гордостью заявила мама, когда они проделали свою работу за компьютерами, – мусор каждого лежит у всех на виду, и тебе нужно лишь знать, как организовать поиск.

В нашей семье отношения поколений с интернетом перевернуты: безграмотным был я, в то время как мои родители супертехнично шарили в сети. Я не регистрировался в соцсетях и каждое утро покупал в киоске на углу бумажные “Тайм” и “Пост”. А мои родители с головой нырнули в ноутбуки, обзавелись аватарами “Второй жизни” прямо в ту минуту, как онлайн появился параллельный мир, и могли отыскать “е-голку в е-стоге сена”, каламбурила моя мама.

Это они сумели приоткрыть для меня прошлое Голденов, ту бомбейскую трагедию, что погнала отца и сыновей на другой конец света.

— Это было несложно, — объяснил отец мне, простачку. — Это ведь довольно заметные люди. Когда человек хорошо известен, обычно срабатывает поиск в лоб, по базе фотографий.

— Нам только и требовалось войти с парадного крыльца, — ухмыльнулась мама и протянула мне папку.

— Вот самые сливки, сынок, — добавила она, отлично подражая герою крутого детектива. — Душераздирающие подробности. Воняет хуже, чем носовой платок водопроводчика. Неудивительно, что они предпочли оставить все позади. Их мир раскололся на куски, словно Шалтай-Болтай, и его уже не собрать, так что они сорвались с места и приехали сюда, где таких людей-обломков двенадцать на дюжину. Я все добыла. Грустная история. Мы направим вам счет с расходами и будем рады, если вы не затянете с уплатой.

В тот год некоторые люди утверждали, что избранный президент — мусульманин, полилось дерьмо насчет подделки свидетельства о рождении, и мы тщательно избегали грубой ловушки предрассудков. Мы помнили имена Мохаммеда Али и Карима Абдул-Джаббара²², а в те дни, когда само-

²² Карим Абдул-Джаббар (Фердинанд Альсиндор, род. 1947) — знаменитый баскетболист, воспитанный в католической вере, но, как и Мохаммед Али, приняв-

леты врезались в небоскребы, мы давали зарок, все мы в Саду, не возлагать вину преступников на других, непричастных. Мы помнили тот страх, что побуждал таксистов украшать приборную доску небольшими флажками и помещать наклейку “Боже, благослови Америку” на перегородку, отделяющую водителя от пассажиров, и нападения на сикхов в тюрбанах вызывали в нас стыд еще и за невежество наших сограждан. Мы видели молодых людей в футболках “Не вините меня, я индус” и не винили их и чувствовали неловкость оттого, что они видели необходимость ради безопасности оповещать о своей религии. Когда город успокоился и жизнь вошла в привычную колею, мы стали гордиться согражданами-ньюйоркцами, их здравомыслием, так что нет, мы и в этот раз не собирались истерить из-за одного слова. Мы читали книги о пророке и Талибани и так далее и не пытались утверждать, будто все поняли, но я вменил себе в обязанность выяснить побольше о городе, из которого приехали Голдены и который они не желали называть по имени. В том городе жители многие годы гордились межобщинной гармонией, многие индусы там не соблюдали вегетарианскую диету, и многие мусульмане ели свинину, это был просвещенный город, его элита была секулярной, вовсе не религиозной, на самом деле там индуистские экстремисты угнетали мусульман, значит, это меньшинство следовало поддержать, а не бояться его. Глядя на Голденов, я видел перед собой

ший ислам как “религию чернокожих”.

космополитов, а не ханжей, и то же самое видели мои родители, так что мы этим вполне удовлетворились и оставили выясненные нами факты при себе. Голдены бежали от трагической террористической атаки, от тяжелой потери. Их надо гостеприимно приветствовать, а не бояться.

Но я не могу отрицать те слова, что вырвались у меня в ответ на провоцирующий вопрос Сучитры: “Это вопрос о природе зла”.

Я сам не знал, откуда это пришло или что означали мои слова, но я знал, что буду искать ответ на мой тинтинов, пуарошный, постбельгийский лад, и когда найду, то заполучу сюжет, который, как я решил, я и только я вправе рассказать.

Жил-был жестокий король, который вынудил троих сыновей покинуть родной дом и запер их в золотом доме, запечатал окна золотыми ставнями, загородил все выходы американскими золотыми слитками, и мешками с испанскими дублонами, и стеллажами с французскими луидорами, и корзинами с венецианскими дукатами. Но в конце концов его дети превратились в птиц, похожих на крылатых змей, и вылетели в дымоход на свободу. Однако на открытом воздухе они тут же обнаружили, что не могут больше лететь, и рухнули горестно наземь, лежали в канаве израненные, ошеломленные. Собралась толпа, не ведавшая, поклоняться ли павшим змеетницам или утешиться их. Но вот полетел первый камень, а следом град камней прикончил всех троих оборотней, и король, оставшийся один в золотом доме, увидел, как все золото в его карманах, и все стеллажи, и мешки, и корзины полыхают все ярче и ярче и наконец вспыхнули огнем. Пламя охватило его со всех сторон, взметнулось высоко: “Измена сыновей погубила меня”, – сказал он. Но это не единственная версия этой истории. В другой сыновья не ускользнули из дома, а погибли в пожаре вместе с королем. В третьей они поубивали друг друга. В четвертой они убили своего отца, одновременно сделавшись отцеубийцами и царевубийцами. Вероятно также, что король был не так уж окон-

чательно плох, возможно, у него наряду со многими отвратительными чертами были и некоторые благородные качества. В наш век злобно конкурирующих реальностей не так-то легко прийти к общему мнению о том, что происходит на самом деле или произошло: о том, *как обстоит дело*, уж не говоря о морали или смысле того или иного рассказа.

Человек, именовавший себя Нероном Голденом, скрывался прежде всего за мертвыми языками. Он свободно владел древнегреческим и латынью и заставил сыновей их выучить. Порой они использовали в разговоре наречие Рима или Афин словно повседневные языки, еще парочку среди мириад диалектов Нью-Йорка. Ранее, в Бомбее, он предложил сыновьям: “Выберите себя классические имена”, и по их выбору мы видим, что сыновья имели более мифологические и литературные устремления, чем отец с его императорской спесью. Они не пожелали быть царями, хотя младший, следует заметить, облек себя божественным достоинством. Итак, они стали Петронием, Луцием Апулеем и Дионисом. После того как они сделали свой выбор, отец всегда именовал их только так. Мрачный, душевно травмированный Петроний в устах Нерона превращался то в Петро, то в Петрина, что звучало похоже на сорт бензина или текилы, но в итоге и навсегда он сделался Петей, перенесясь из Древнего Рима в миры Достоевского и Чехова. Второй сын, живой, светский, художник, городской гуляка, пожелал сам

себе назначить и прозвище. “Зовите меня Апу”, настаивал он, не прислушиваясь к возражениям отца (“Мы же не бенгальцы!”) – он не отвечал на другие формы обращения, пока эта не прижилась. А младший, которого ждала самая странная судьба, стал просто “Д”.

К этим трем сыновьям Нерона Голдена мы обратим теперь свое повествование, упомянув лишь заранее, что все четверо Голденов, каждый в свое время, решительно утверждали, что их переезд в Нью-Йорк не был ни изгнанием, ни бегством – это свободный выбор. Что вполне может быть правдой применительно к сыновьям, но, как мы увидим, у отца были и другие причины, кроме личной трагедии и собственных потребностей. Вполне вероятно, что он желал убраться подальше и стать недостижимым для неких людей. Но терпение: я не стану раскрывать сразу все свои секреты.

Петя, эдакий денди, одевавшийся консервативно, однако всегда со вкусом, повесил над входом в свою комнату медную пластинку со словами своего тезки Гая Петрония, кого Плиний Старший, Таций и Плутарх называют *arbiter elegantiarum* или *elegantiae arbiter*, судьей стиля при дворе Нерона: “Оставь свой дом, юноша, и стремись к иным берегам. Пусть дальняя Дануба узнает тебя, холодный северный ветер, бестревожное царство Канопа и те люди, что видят нового Феба при рождении или на закате”. Станный выбор цитаты, ведь окружающий мир страшил его. Но человек склонен мечтать и в мечтах быть не таким, каков он есть.

Я видел их в Саду несколько раз в неделю. С одними членами семьи я сблизился больше, чем с другими, но познакомиться с человеком – совсем не то же, что оживить персонаж. К тому времени я уж подумывал просто записывать все подряд, как пойдет. Закрой глаза и проигрывай кино у себя в голове, открой глаза и все запиши. Но для начала нужно было, чтобы они перестали быть моими соседями, живущими в Актуальном, и стали персонажами, живущими в Реальном. Я решил начать с того, с чего начинали они сами, с их классических имен. Чтобы подобраться к Петронию Голдену, я прочел “Сатирикон”, изучил Мениппову сатиру. “Лучше критиковать умственный настрой, нежели высмеивать отдельных людей”, записал я для себя. Я прочел то немногое, что осталось от сатировой драмы – “Циклопов” Еврипида, фрагменты “Тянущих невод” Эсхила и “Следопытов” Софокла, а также современную перелицовку Софокла Тони Харрисона, “Искатели Оксиринха”. Помог ли мне этот материал из античного мира? Да, постольку, поскольку направил мое внимание к бурлеску и балагану, прочь от высоколбой трагедии. Мне понравились танцующие в грубых башмаках сатиры Харрисона, и я сделал себе пометку: “Петя – плохой танцор, настолько нескоординированный, что людям он кажется забавным”. Тут тоже намечался вероятный сюжетный ход, поскольку и в “Тянущих невод”, и в “Следопытах” сатиры натываются на волшебных младенцев – в первой пьесе это Персей, во второй Гермес. “Оставить возможность вве-

сти в сюжет сверхъестественно одаренных детей”, записал я в блокноте, а рядом: «??? Или – НЕТ”. То есть пока я не пришел к ясности не только насчет сюжета и тайны, составлявшей его средоточие, но даже и насчет формы. Сыграет ли свою роль нечто сверхреальное, фантастическое? В тот момент я не был уверен. И классические источники не только помогали, но и сбивали с толку. Сатировы драмы, как общеизвестно, принадлежали к культу Диониса, они, по всей вероятности, начинались как сельские приношения этому богу: пьянка, секс, музыка, танцы. Так на кого же в моей истории проливали свет сатировы драмы? Петя “был” Петронием, но Дионисом был его брат... в чьей истории вопрос пола, или, вернее, гендера (лучше обойтись без слова, которое так ненавидела его возлюбленная, удивительная Рийя), был ключевым. Я сделал себе пометку: “Персонажи братьев до некоторой степени пересекаются”.

Чтобы понять Апу, я перечитал “Золотого осла”, но в моей истории метаморфоза будет уделом другого брата (опять-таки персонажи братьев пересекаются). Но и тут у меня осталась ценная пометка: “Во времена Луция Апулея “золотым” называли рассказ, полный вымысла, безудержную фантазию, нечто с очевидностью далекое от истины. Волшебную сказку. Ложь”.

А что касается волшебного ребенка: вместо первоначальной “??? Или – НЕТ”, должен сказать, что ответ, без помощи Эсхила или Софокла, превратился в ДА. В истории бу-

дет младенец – волшебный или проклятый? Читатель, решай сам.

Блистательная и прискорбная странность человека, именовавшегося Петей Голденом, стала очевидна для всех с первого же дня, когда в угасающем свете зимнего вечера он одиноко нахохлился на скамейке в Саду: крупный мужчина, увеличенная копия своего отца, большой и тяжеловесный, с отцовскими темными и внимательными глазами, словно вопрошавшими о чем-то горизонт. Он был в кремовом костюме, а сверху тяжелое твидовое пальто в елочку, перчатки и оранжевый шарф; рядом на скамье стояли изрядных размеров миксер для коктейля и банка оливок, в правой руке он держал стакан с мартини, и пока сидел так в монологическом уединении и его дыхание призрачно повисало в январском воздухе, он вдруг заговорил вслух, излагая всем и никому теорию, которую он приписывал кинорежиссеру-сюрреалисту Луису Бунюэлю: почему сухой мартини подобен непорочному зачатию Христа. Ему было примерно сорок два года, и я, на семнадцать лет его младше, осторожно подбирался к нему по газону, готовый слушать, сразу же влюбленный – так железные опилки притягиваются к магниту, так мотылек летит на роковой огонь. Приближаясь, я видел в сумерках, как трое из местных детишек прервали игру, забросили качели и лазалки, чтобы внимательнее рассмотреть этого странного огромного человека, общающегося с самим со-

бой. Они понятия не имели, о чем болтает свихнувшийся незнакомец, и все-таки наслаждались представлением. “Чтобы приготовить идеальный сухой martini, – рассуждал он, – нужно взять стакан для martini, бросить в него оливку и наполнить до краев джином или, по новой моде, водкой”. Дети захихикали от такой извращенной пьяной болтовни. “А затем, – продолжал он, протыкая воздух указательным пальцем левой руки, – нужно поставить бутылку с вермутом вплотную к стакану, так, чтобы единственный солнечный луч проходил сквозь бутылку и попадал в стакан с martini. И – выпить martini”. Он щедро отхлебнул из стакана. “Этот я приготовил заранее”, – пояснил он для просвещения детей, которые уже разбегались, восторженно и вино-вато смеясь.

Для детей из здешних домов Сад был укрытым и безопасным местом игр, они носились тут без присмотра. После этой лекции о martini кто-то из мам по соседству обеспокоился насчет Пети, но причин для тревог не было: его порочная страсть была направлена не на детей, исключительно на выпивку. А его душевное состояние не представляло опасности ни для кого, кроме самого Пети, хотя он легко мог обидеть легкоранимых. При первой встрече с моей матерью он заявил: “Вы, наверное, были когда-то красивой молодой женщиной, но теперь вы старая и сморщенная”. Мы, Унтерлиндены, гуляли в утреннем Саду, когда Петя в своем твидовом пальто, шарфе и перчатках подошел познакомиться с моими

родителями, и вот что он сказал. Первые же его слова после “здравствуйте”. Я ошетинился и открыл было рот, чтобы дать ему отпор, но мама коснулась ладонью моей руки и ласково покачала головой. “Да, – ответила она, – вижу, вы человек правдивый”.

“Аутистический спектр”. Я прежде не слышал этого термина. Думаю, во многих отношениях я был чистым листом и все мои знания об аутизме сводились к “Человеку дождя” и другим подобным персонажу Дастина Хоффмана *idiots savants*, как жестоко называли тех, кто наизусть знал простые числа вплоть до многозначных или рисовал по памяти неправдоподобно подробные карты Манхэттена. Петя, по словам моей мамы, занимал одну из верхних “полочек” в аутистическом спектре – либо это высокофункциональный аутизм, либо синдром Аспергера, что именно, она не знала. Ныне синдром Аспергера уже не рассматривается как отдельный диагноз, он включен в спектр по “шкале тяжести”. А тогда, всего несколько лет назад, большинство людей знало так же мало, как я, и людей с синдромом Аспергера зачастую попросту помещали в рубрику “сумасшедших”. Петя Голден, по всей видимости, и терзался, и сбивался, но ни в малейшей мере не был сумасшедшим, даже близок к этому состоянию не был. Это был замечательный, хрупкий, одаренный, неадекватный человек.

Он и физически был неуклюж, а волнуясь, становился неуклюж и в речи, запинаясь, заикался, ярился от собствен-

ной слабости. Он также обладал самой вместительной памятью, какую мне доводилось видеть. Стоило произнести имя поэта – Байрон, например, – и он двадцать минут подряд с закрытыми глазами декламировал “Дон-Жуана”:

Ищу героя! Нынче что ни год
Являются герои, как ни странно.
Им пресса щедро славу воздает,
Но эта лесть, увы, непостоянна,
Сезон прошел – герой уже не тот²³.

В поисках героизма, рассказывал Петя, он попытался сделаться коммунистом-революционером в университете (в Кембридже, откуда он, по своей болезни, ушел без степени бакалавра архитектуры), но, признавался он, не приложил достаточных усилий, чтобы стать настоящим, да и богатство помешало. К тому же синдром едва ли способствовал организованности и дисциплине, так что Петю не признали ценным кадром, и в целом ему нравилось не бунтовать, а спорить. Ничто не доставляло ему большего удовольствия, чем возражать любому, кто высказывал свое мнение, раскатывать оппонента, пустив в ход неисчерпаемые запасы тайных и подробнейших знаний. Он бы и с королем спорил за корону, и с воробьем за крошку хлеба. И пил он чересчур много. Когда я как-то утром присел рядом с ним в Саду, чтобы вы-

²³ Перевод Т. Гнедич.

пить на пару – он накачивался с самого завтрака, – мне пришлось выливать спиртное под куст, когда Петя на миг отвлекался. Невозможно было держаться с ним наравне. Но хотя он поглощал водку в промышленных масштабах, это вроде бы никак не сказывалось на его неправильно подключенных и все же изумительных мозгах. В своей комнате на верхнем этаже дома Голденов Петя купался в синем свете, окруженный компьютерами, и только эти электронные мозги казались ему равными, его настоящими друзьями, словно мир игр, куда он входил сквозь мониторы, и был реальным его миром, а наш мир – виртуальной реальностью.

Люди – создания, с которыми ему приходилось как-то мириться, но Петя никогда не чувствовал себя уютно рядом с ними.

Труднее всего ему было – в те первые месяцы, пока мы сами не нашли ответы, и тогда я ему сказал об этом, думая этим успокоить, но вовсе не успокоил – удержаться и не разболтать семейные тайны, подлинные имена, происхождение, историю смерти его матери. Стоило задать прямой вопрос, и он отвечал как есть, потому что устройство мозга не позволяло ему солгать. Но из лояльности отцовским пожеланиям он ухитрился отыскать лазейку, научился уклончивым оборотам. “Я не стану отвечать на этот вопрос” или “может быть, вам следовало бы спросить кого-то другого” – эти фразы его натура допускала как истинные, и потому он мог себе позволить их произнести. Но порой он скатывался опасно к само-

му краю предательства. “Что до моей семьи, – сказал он однажды, ни с того ни с сего, по своему обыкновению (его речь состояла из потока случайных бомб, падавших с неведомых небес его мыслей), – вспомните то непрерывное безумие, что творилось во дворце во времена двенадцати Цезарей: инцесты, матереубийства, отравления, эпилепсия, мертвые младенцы, мерзость зла, и, разумеется, коня Калигулы не забудем. Сумасшедший дом, друг мой, но когда обычный римлянин поднимал глаза на дворец, что он видел? – усиленная драматическая пауза и затем: – Он видел дворец, дорогой мой мальчик. Он видел чертов дворец, неподвижный, неизменный – вот он. Внутри власть имущие трахали своих тетей и отрезали друг другу пенисы. Снаружи было очевидно, что структура управления остается неизменной. Мы такие, папа Нерон и мои братья. Внутри, в семье, творится ад, я это сам признаю. Помните Эдмунда Лича²⁴, его Ритовскую лекцию на Би-би-си: «Семья с ее тесной приватностью и мишурными секретами – источник любого нашего недовольства». До чертиков верно в нашем случае, старина. Но перед римлянином с улицы мы смыкаем ряды. Мы строим чертову черепаху, и вперед марш”.

Что бы ни пришлось нам узнать о Нероне Голдене – а пока я закончу, узнать придется многое, и по большей части устрашающее, – не было никакого сомнения в его предан-

²⁴ Эдмунд Лич (1910–1989) – английский социальный антрополог, уточнил терминологию родства.

ности первенцу. Очевидно, в некотором смысле Петя навсегда оставался отчасти ребенком, непредсказуемо проваливающимся в нелепые несчастья. Как будто мало было синдрома Аспергера, к тому времени, как он появился среди нас, агорафобия тоже достигла серьезной стадии. Общий Сад, как ни странно, его нисколько не пугал. Закрытый со всех четырех сторон от города, Сад каким-то образом в треснувшем зеркале его разума представлял как “внутреннее пространство”. Однако на улицы Петя редко отваживался выходить. Потом однажды он вздумал дать бой собственным ментальным ветряным мельницам. Бросил вызов страху перед неогороженным миром, пожелал одолеть своих демонов и без всякой цели спустился в подземку. Домашние запаниковали, обнаружив его отсутствие, а спустя несколько часов им позвонили из полицейского участка Кони-Айленда: испугавшись, как только поезд вошел в туннель, Петя устроил в вагоне шум и беспорядок, а когда на ближайшей станции вошел полицейский, Петя обругал его, назвал большевистским аппаратчиком, политкомиссаром, агентом тайного государства – и в итоге Петю заковали в наручники. Лишь появление Нерона в длинном и суровом лимузине спасло ситуацию. Он объяснил, какие у сына проблемы, и, как ни странно, его выслушали уважительно и отпустили задержанного под опеку отца. Позднее случалось и многое другое, похуже. Однако Нерон Голден ни разу не дрогнул, он постоянно искал новейшие медицинские средства, все самое лучшее для

первородного сына. Когда будут подводиться итоги, на чаше весов это будет существенной его заслугой.

Что такое героизм в наше время? И что есть злодейство? Как много мы забыли, если утратили ответ на такие вопросы. Облако неведения нас окутало, и в тумане странный, сломанный дух Пети вспыхивал судорожно, как вышедший из строя маяк. Какое влияние он мог бы оказать на мир! Ведь он рожден был гением, но программа дала сбой. Блистательный оратор, что есть, то есть, но его можно сравнить с кабельной приставкой, где сами собой то и дело без предупреждения переключаются каналы ток-шоу. Порой он бывал весел до исступления, однако недуг причинял ему глубокое страдание, он стыдился неспособности правильно функционировать, неумения излечиться, стыдился того, что нуждается в помощи отца и плеяды специалистов, которые удерживали его на плаву и восстанавливали после очередной поломки.

Огромное страдание, и он благородно терпел. Мне вспоминался Раскольников: “Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца. Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть”.

Однажды летним вечером в первый год Голденов среди нас они устроили блистательный праздник, выплеснувшийся из их особняка на общие лужайки. Были задействованы лучшие пиарщики и специалисты по планированию вечеринок,

так что явилась изрядная пропорция “всего города”, всякой твари по паре от наглолицего зверинца, а также позвали нас, соседей, и в ту ночь Петя разошелся вовсю, глаза его сияли, он журчал неумоимо, как ручей. Я следил, как он кружит в своем костюме с Сэвил-роу среди и вокруг старлеток и певиц, драматургесс и шлюх и денежных мешков, обсуждавших азиатский финансовый кризис – на них он произвел впечатление умелым использованием таких выражений, как “том ям гун”, тайский термин, означающий кризис, способностью обсуждать участь экзотических валют, падение бата, девальвацию юаня, и наличием особого мнения о том, повлиял ли финансист Джордж Сорос на коллапс малазийской экономики короткой продажей ринггита. Вероятно, лишь я один – или только его отец и я – разглядели за этим спектаклем отчаяние: отчаяние ума, неспособного к самообузданию и оттого нисходящего в карнавальность. Ума, запертого в самом себе, отбывающего пожизненный срок.

В ту ночь он безостановочно болтал и пил, и все мы, кто собрался там, навеки сохраним в памяти обрывки его речи. Какая безумная, какая невероятная речь! Неисчерпаемы были сюжеты, которые он затрагивал и выбивал, как боксерскую грушу: британское королевское семейство, в особенности сексуальная жизнь принцессы Маргарет, превратившей некий карибский остров в свой будуар, и принца Чарльза, мечтавшего стать тампоном своей любовницы; философия Спинозы (ее он одобрял); лирика Боба Дилана (он цели-

ком отхватил наизусть “Грустноглазую леди” так почтительно, словно это было продолжение *La Belle Dame sans Merci*²⁵); матч Спасский – Фишер (Фишер умер годом ранее); исламский радикализм (он был его противником) и розовый либерализм (который идет на компромисс с исламом, сказал Петя, а потому он был его противником); Папа Римский (он титуловал его экс-Бенедиктом); романы Честертона (любимый – “Человек, который был Четвергом”); отвратительность волосатой мужской груди; “несправедливость”, учиненная по отношению к Плутону, только что низведенному до статуса карликовой планеты, после того как в поясе Койпера обнаружилось более крупное небесное тело – Эрида; изъяны теории черных дыр у Хокинга; слабость устаревшей американской коллегии выборщиков; глупость студентов колледжей (не путать с коллегией выборщиков); сексуальная привлекательность Маргарет Тэтчер; и “двадцать пять процентов американцев” – склоняющихся к крайне правым – которые “диагностически сумасшедшие”.

Но было и другое: он обожал “Летающий цирк Монти Пайтона”. И растерялся, споткнулся, не мог подобрать слов, потому что один из гостей вечера, представитель известного бродвейского семейства театровладельцев, привел с собой в качестве пары Эрика Айidla из “Пайтона”, который в ту пору вновь стал знаменитостью благодаря успеху “Спамалота”

²⁵ Прекрасной безжалостной дамы (*франц.*). Стихотворение Джона Китса (1819).

на Бродвее, и явился как раз в тот момент, когда Петя обрушил на безмятежно элегантную скульпторшу Убу Туур (о ней нам вот-вот предстоит рассказать намного подробнее) подробный отчет о своей ненависти к мюзиклам как к жанру: исключение допускалось лишь для “Оклахомы!” и “Вестсайдской истории”, и он пустился изображать перед нами излюбленные отрывки из “Не могу ответить отказом” и “Ах, сержант Крапке”, приговаривая, что “все прочие мюзиклы дерьмо”. Тут он увидел поблизости внимательно слушающего пайтона, отчаянно покраснел и в последний момент спас положение, включив в число благословенных мюзикл мистера Айдла и заставив всю компанию жизнерадостно исполнить “Всегда смотри на светлую сторону жизни”.

Однако он оказался опасно близок к провалу, и это испортило ему настроение. Петя смахнул пот со лба, ринулся в дом и там пропал. Он не вернулся к гостям, и далеко за полночь, когда почти все разошлись и лишь немногие из местных еще наслаждались теплым ночным воздухом, окно Петиной комнаты на верхнем этаже Золотого дома распахнулось, огромная мужская фигура выбралась на подоконник, пьяно покачиваясь – в длинном черном пальто он смахивал на русского студента-революционера. В этом возбужденном состоянии он уселся на карниз, свесив ноги наружу, и принялся вопиять к небесам: “Я здесь один! Я здесь по своей вине! Никто не виноват, что я здесь! Я здесь совсем один!”

Все замерло. Мы, в Саду, стояли, словно парализованные,

глядя вверх. Его братья, бывшие с нами в Саду, так же не могли пошевелиться, как и мы. Но отец, Нерон Голден, тихо вошел в дом, подобрался к сыну сзади и, обхватив его руками, рухнул спиной вперед в комнату вместе с ним. А потом Нерон подошел к окну и прежде, чем его закрыть, махнул нам всем рукой, яростно разгоняя зевак:

– Нечего тут глазеть! Леди и джентльмены, вы тут ничего интересного не увидите. Доброй ночи.

Некоторое время после этой почти попытки самоубийства Петя Голден не находил в себе сил выйти из зашторенной комнаты, подсвеченной дюжиной мониторов и множеством лампочек бледно-синего цвета – он пребывал там сутки напролет, почти не спал, с головой уйдя в свои электронные мистерии, в том числе играя в шахматы с анонимными противниками из Кореи и Японии и, как мы впоследствии обнаружили, впихивая в себя экспресс-курс по истории и развитию видеоигр: он разобрался с программами военных игр шестидесятых годов, использовавшимися в ранних цифровых компьютерах, “Колоссе” и “ЭНИАКе”, пренебрежительно перебрал “Теннис для двоих”, “Войны в космосе” и первые версии аркад, прожил век “Охоты на вампуса” и “Подземелий и драконов”, пронесся мимо пошлости “Пакмана” и “Донки Конга”, “Стритфайтеров” и “Мортал комбат” – далее сквозь “СимСити”, “Воркрафт” и более изощренные субъективности “Кредо ассасина” и “Ред Дед Редемпшен” и до-

брался до таких уровней сложности, о которых никто из нас и догадываться не мог. Он следил за вульгарными фрикциями телевизионных реалити-шоу, питался гренками с сыром “Дабл Глостер”, которые сам жарил на маленькой электроплитке, и все это время погибал от глубочайшего отвращения к себе, от непосильной ноши на плечах. Постепенно его внутренний климат изменился, и ненависть к себе обратилась в ненависть ко всему миру, в особенности к отцу, самому наглядному воплощению авторитета и власти. Однажды ночью в то лето бессонница, мой постоянный спутник, выгнала меня из постели примерно в три часа ночи. Я накинул кое-какую одежду и побрел в общий Сад подышать теплым ночным воздухом. Все дома спали – все, за исключением одного: в резиденции Голденов светилось одинокое окно на втором этаже, в той комнате, что Нерон Голден использовал под кабинет. Старика я снизу не видел, но сразу распознал силуэт Пети, широкие плечи, плоскую прическу. Поразила меня крайняя возбужденность этой обозначенной силуэтом фигуры – руки машут, вес перемещается с ноги на ногу. Петя слегка повернулся, и теперь, увидев его почти в профиль, я понял, что он яростно орет.

Слышать я ничего не слышал. Окна кабинета были звуконепроницаемы. Некоторые из нас подозревали, что они сделаны из пуленепробиваемого стекла толщиной в дюйм, и зрелище беззвучно орущего Пети подкрепляло такую гипотезу. Почему Нерону требовались пуленепробиваемые ок-

на? Ответ очевиден: богатые жители Нью-Йорка прибегали к причудливым способам самозащиты. В моей университетской семье было принято реагировать любознательно и чуть насмешливо, когда мы сталкивались с эксцентричностью соседей: то художник регулярно выходит на люди в шелковой пижаме, то владелица журнала не снимает темных очков даже вечером. Так что пуленепробиваемое стекло – ничего особенного. И эта немая пантомима лишь подчеркивала накал истерического исступления Пети Голдена. Я восхищаюсь немецким экспрессионистским кино, и в особенности творчеством Фрица Ланга, и слова “доктор Мабузе” сами собой всплыли в моем мозгу. В тот момент я отмахнулся от этой подсказки, потому что меня больше интересовала другая мысль: может быть, Петя и вправду сходит с ума, не метафорически, буквально. Может быть, за аутизмом и агографией скрывается более серьезный диагноз, безумие. Я решил повнимательнее к нему присмотреться.

Из-за чего вспыхнул конфликт? Этого я узнать не мог, но мне казалось, так выплескивается неистовая жалоба Пети на самую жизнь, которая столь несправедливо с ним обошлась. На следующий день я видел старика, сидевшего в раздумье на скамье Сада, он был неподвижен словно камень, неприступен, лицо омрачено. Много лет спустя, когда все уже стало известно, я вспомнил, как в ту летнюю ночь в Саду под освещенным и немым окном Нерона Голдена мне пришел на ум великий фильм Ланга “Доктор Мабузе, игрок”. Фильм,

разумеется, о жизни великого преступника.

Ни намек на драматические события, случившиеся во время вечеринки Голденов, не просочилось в газеты (или на сайты сплетен или в какие иные цифровые распространители слухов, порожденные новыми технологиями). Несмотря на высокий процент знаменитостей в списке приглашенных, несмотря на большое количество obsługi, среди которой кто-то мог бы соблазниться легкими деньгами за телефонный звонок, обет молчания, который соблюдали Голденны, словно бы распространялся и на тех, кто к ним приближался, так что даже шепоток о скандале не вырвался за пределы этого мощного, чуть ли не сицилийского магнитного поля омерты. Нерон нанял самых могущественных из городского племени пиарщиков, и главной их задачей было не усилить, но подавить публичность – в итоге все, что происходило в доме Голденов, как правило, в доме Голденов и оставалось.

Ныне я думаю, что в глубине души Нерон Голден понимал, что его образ ньюйоркца без прошлого недолговечен. Думаю, Нерон знал, что в конце концов прошлое не удастся отменить, что оно явится за ним и возьмет свое. Думаю, он пустил в ход свою огромную способность к блефу, чтобы отсрочить неизбежное. “Я рациональный человек, – известил он своих гостей в тот вечер, когда Петю постиг кризис. (Он питал склонность к самохвальным речам.) – Деловой человек. Если позволено будет сказать, в бизнесе я ве-

ликий человек. Уж не сомневайтесь. Никто не разбирается в бизнесе лучше меня, смею вас уверить. И на мой вкус Америка чересчур озабочена Богом, чересчур окутана суевериями, но сам я не таков. Все такие штучки препятствуют коммерции. А для меня – дважды два четыре. Все прочее – абракадабра и фокус-покус. Дважды четыре – восемь. Если Америка хочет быть тем, чем Америка способна быть, чем она мечтает быть, пусть отвернется от Бога – к доллару. Бизнес Америки – заниматься бизнесом. Вот во что я верю”. Таково было его дерзновенное и многократно провозглашаемое кредо прагматического капиталиста, и это, кстати, убедило меня в том, что мы, Унтерлиндены, правильно угадали его нерелигиозность, но при этом старик и все они оставались под властью великой иллюзии: будто бы стоит человеку принять решение и стать другим, и его не станут судить за то, кем он был прежде, и за то, что он делал раньше. Они хотели избавиться от исторической ответственности и быть свободными. Но история – тот суд, перед которым в итоге предстанут все люди, даже императоры и принцы. Мне вспомнилась фраза Лонгфелло, позаимствованная у римлянина Секста Эмпирика: “Мельницы Господни мелют медленно, зато очень мелко”.

Луций Апулей Голден, он же Апу, второй из псевдонимных мальчиков Голденов – хотя ему был сорок один год, почему-то слово “мальчик” казалось уместнее для него, чем “мужчина”, – был всего на год младше Пети, их дни рождения отстояли меньше чем на двенадцать месяцев, и знак гороскопа (Близнецы) совпадал. Он был красив, ребячлив, с нахальной козлиной усмешкой, торжествующий смешок неотразимо сочетался с маской постоянной меланхолии и разнообразным жалобным монологом, в котором он перечислял все свои неудачи с молодыми женщинами, зажатые возле туалета в том или ином горячем местечке, далеко за полночь (так он маскировал куда более внушительный список успехов подобного рода). Волосы он брил налысо – уступка разрастающейся плеши – и заворачивался в объемистые шали из пашмины, а со старшим братом давно уже не ладил. Оба они заявляли мне (каждый в отдельном разговоре), что в детстве были близки, но с возрастом отдалились друг от друга, ибо их характеры оказались несовместимы. Апу, любитель бродить по городу, исследовать все, что город мог ему предложить, к “проблемам” Пети относился без сочувствия. “Мой братец – идиот, – говаривал он мне, когда мы порой отправлялись выпить вместе. – Он всего боится, трусишка”. К этому Апу добавил однажды: “Пусть остережет-

ся. Наш отец презирает слабаков и не подпускает их к себе. Стоит ему определить тебя в слабаки, и с тобой покончено. Ты на хрен труп”. И тут, словно услышав со стороны, что он произнес, услышав, как треснула броня, он откинулся на спинку стула и поспешил исправить сказанное: “Не обращай внимания. Я слишком много выпил, и вообще, у нас просто манера такая выражаться. Мы часто всякую чушь несем. Это ничего не значит”.

Мне казалось, в нем говорит ревность. Нерон Голден, как все мы видели, заботливо пекся о своем душевно поврежденном первенце. Вероятно, Апу не получал от патриарха того внимания, о каком вполне откровенно мечтал. (Я часто удивлялся, зачем все четверо Голденов остаются жить под одной крышей, особенно когда стало ясно, что они плоховато уживаются, но когда я собирался с духом и задавал этот вопрос Апу, я получал загадочные аллегорические ответы, больше похожие на сюжет “Тысячи и одной ночи” или “Алмаза величиной с отель «Риц»”, чем на то, что можно было бы принять за правду. “Наш отец, – отвечал он, к примеру, – знает, где скрыта пещера с сокровищами, та, что откликается на приказ «Сезам, откройся». Вот мы и живем с ним, пытаемся найти карту”. Или: “Наш дом буквально стоит на фундаменте из чистого золота. Всякий раз, когда нам нужно за что-то платить, мы попросту спускаемся в погреб и отскабливаем себе немножко”. И в самом деле, дом словно обладал над ними всеми какой-то властью – дом в генеалогиче-

ском смысле или в буквальном, трудно разделить. Из-за чего-то, что гуще воды, Голдены цеплялись друг за друга, даже если отношения со временем ухудшались и превращались в откровенную враждебность. Цезари в своем дворце, вся их жизнь великая игра, они исполняли свой танец смерти).

Любовь Апу к Америке была всеядной. Я напоминал себе, что он и Петя, конечно же, бывали здесь раньше, совсем юными, жили с родителями в бродвейском лофте во время университетских каникул и, скорее всего, слыхом не слыхали про дом бенами в нескольких кварталах оттуда, который их отец готовил для отдаленного в ту пору будущего. Вот уж, должно быть, Апу преуспевал сексуально в тогдашнем более молодом, ярком городе! Неудивительно, что он счастлив был вернуться.

Вскоре после приезда он попросил меня рассказать о той ночи, когда Барак Обама был избран президентом. Ту ночь я проводил в мидтаунском спортбаре, где известный дуайен Верхнего Ист-Сайдского сообщества, республиканец, вел вечеринку вместе с явно даунтаунским демократом, кинорежиссером. В 11 вечера, когда подсчитали результаты голосования в Калифорнии, протолкнувшие Обаму за финишную черту, зал взорвался эмоциями, и я почувствовал: я, как и все тут, не мог прежде поверить, что то, что здесь происходило, действительно произойдет, хотя уже за два часа до того цифры явно предвещали победу Обамы. Опасения, как бы вновь не подтасовали выборы, вот что было у нас на уме,

и когда большинство сделалось столь определенным, к восторгу примешивалось облегчение: теперь уж не украдут победу, заверял я себя, а по лицу текли слезы. Завершив рассказ, я посмотрел на Апу и увидел, что он тоже плачет.

После этого великого момента в спортбаре, продолжал я рассказывать, я полночи шлялся по улицам, вплоть до Рокфеллеровского центра и Юнион-сквер, наблюдал толпы молодых людей, таких же, как я, сиявших в уверенности, что – вероятно, впервые в истории – они собственным прямым действием изменили путь своей страны. Я упивался оптимизмом, изливавшимся на нас со всех сторон, и, как подбавляет желчному многознайке, уже сказал себе: “Разумеется, теперь он нас разочарует”. Тут нечем гордиться, признал я, но именно эти слова пришли на ум.

– Ты смолоду такой разочарованный, а я до сих пор мечтатель, – откликнулся Апу, все еще плача. – А ведь с моей семьей произошли ужасные вещи. А с тобой и твоими ничего страшного не было.

Благодаря моим родителям я к тому времени знал кое-что об “ужасных вещах”, на которые намекал Апу, но меня удивили его слезы. Неужели этот человек, недавно перебравшийся в Америку, успел так вложиться в новую свою страну, что плачет из-за результатов выборов? Или связь с этой страной установилась у него еще в юности и теперь он переживал возрождение давно утраченной любви? Сентиментальные слезы или крокодилы? Я отмахнулся от этого вопроса и

подумал: когда сблизись с ним и узнаешь получше, тогда и получишь ответ. Итак, я сделал еще один шаг к тому, чтобы превратиться в шпиона-любителя: к тому времени мне стало совершенно ясно, что за этими людьми стоит пошпионить. А про меня он высказался не совсем точно на тот момент, ведь я, в целом, тоже был захвачен первоначальным энтузиазмом обамовского президентства, но слова Апу оказались вещими, поскольку с годами отчуждение от системы нарастало во мне, и восемь лет спустя, когда люди моложе меня (по большей части юные, белые, с университетским образованием) выразили желание порвать эту систему в клочья и выбросить на помойку, я не примкнул к ним, потому что такого рода мощные жесты казались выражением той же дурной роскоши, которую провозвестники этой идеи якобы ненавидели, и когда эти жесты были воплощены в жизнь, они с неизбежностью привели к чему-то худшему, чем то, что удалось ниспровергнуть. Но я понимал этих людей, разделял их отчуждение и гнев, потому что во многом и сам то же чувствовал, только из меня эти чувства сформировали иной тип, более осторожного градуалиста – в глазах нового, следующего за моим поколения это была довольно-таки презренная точка (политического) спектра.

У Апу имелась мистическая жилка, любые духовные явления притягивали его, но, как я уже говорил, по большей части он скрывал от нас эту свою страсть, хотя никаких причин для скрытности не было, поскольку ньюйоркцы точно

так же увлекались самыми причудливыми системами веры. Он отыскал в Гринпойнте ведьму, *mae-de-santo*²⁶, и на ее захлавленной *terreiro*²⁷ поклонялся, следуя ее указаниям, ее любимцу Орише (одному из низших божеств) и, конечно же, Верховному творцу Олудумаре. Но он и ей изменял, хотя она наставляла его в колдовстве, – он с равным энтузиазмом ходил к каббалисту с Канал-стрит – к Иделю, адепту запретной Практической Каббалы, которая средствами белой магии стремится воздействовать на сферу божественного и внести в нее изменения, а также преобразить мир. Со страстью он входил – приглашенный друзьями, которых его страсть заражала – в мир буддистского иудаизма и медитировал вместе с растущим сообществом “бувреев”, классических композиторов, кинозвезд, йогов. Он практиковал майсорскую йогу, сделался мастером таро, изучал нумерологию и старинные книги, исследовавшие черные искусства и дававшие наставления, как строить пентакли и магические круги, внутри которых колдун-дилетант оставался в безопасности, пока твердил свои заклинания.

Скоро выяснилось также, что он – исключительно одаренный художник, чье техническое совершенство не уступало Дали (а использовалось лучше). Портретист эпохи концептуализма, он рисовал вокруг мужских и женских фигур, чаще всего обнаженных, или помещал внутрь них, или ис-

²⁶ Буквально “Мать святого” (*португал.*), жрица афро-бразильской религии.

²⁷ Веранда, задний двор (*португал.*).

пользовал как раму символы своих тайных штудий: цветы, глаза, мечи, чаши, солнца, звезды, пентаграммы, мужские и женские половые органы. Очень быстро он обзавелся студией поблизости от Юнион-сквер и выполнял яркие портреты “всего” Нью-Йорка, светских дам (по большей части дам, но и некоторых выдающихся молодых людей также), которые были счастливы раздеться для него и быть вписанными в изобильный мир высокодуховных смыслов, оказаться среди тюльпанов или плыть по райским и адским рекам, а затем вернуться в храм Мамоны, где они обитали. Великолепная техника помогла ему приобрести легкий и стремительный стиль, то есть обычно он начинал и завершал портрет в один и тот же день, чем еще более радовал торопливую толпу клиентов. Первая его самостоятельная выставка прошла в 2010 году под покровительством Фонда Брюса Хай Кволи-ти во временно организованной галерее в Челси. Название он позаимствовал у Ницше: “Привилегия владеть собой”. Он становился знаменитым или, как сам говорил со своего рода комико-цинической скромностью, “знаменитым на двадцать кварталов”.

Америка изменила обоих, и Петю, и Апу – Америка, это раздвоенное существо, поляризовала их, как сама она поляризована, войны Америки, и внешние, и внутренние, сделались их войнами, но вначале, если Петя прибыл в Нью-Йорк сильно пьющим эрудитом, который боялся мира и ощущал жизнь как постоянное преодоление, то Апу явился трезвым

романтическим художником и активно-сексуальным жителем столицы, флиртовавшим со всякими иллюзиями, но сохранявшим ясность зрения, и она позволяла ему, как свидетельствовали его портреты, видеть людей в их реальности: паника в глазах увядающей вдовы, невежество и уязвимость в позе чемпиона по боксу, оставшегося без перчаток, отвага балерины, чьи балетки заливают кровь, словно она, как сводная сестра Золушки, отрубила себе пальцы, пытаясь втиснуть стопу в стеклянную туфельку. Его портреты чуждались лести, они бывали очень жестокими. И все равно клиенты спешили к нему с крупными чеками в руках. Быть нарисованным Апу Голденом, быть прибитым к его холсту – это стало желанным и ценным. Вошло в моду. И в то же время за пределами своей студии он жадно носился по городу, обнимал его весь, словно юный Уитмен, и метро, и клубы, и электростанции, и тюрьмы, субкультуры, катастрофы, пылающие кометы, игроков, умирающие заводы, танцовщиц. Он был антиподом своего брата, ненасытный агорафил, его стали воспринимать как волшебное существо, проникшее в реальный мир из сказки, только никто не мог в точности решить, благие на нем чары или губительные.

Одевался он гораздо ярче старшего брата и часто менял свой облик. Он пользовался контактными линзами многих оттенков, иногда вставлял одновременно две разные, и до самого конца я не знал, каков естественный цвет его глаз. В одежде он сочетал моды всей нашей планеты. Повинуясь ка-

призу, он отказывался от шали из пашмины и надевал арабскую дишдашу, африканский дашики, южноиндийскую вешти, яркие рубашки латиноамериканцев, а порой, впадая в Петину угрюмость, застегивался в шитый на заказ твидовый английский костюм с жилетом. Его видали на Шестой авеню в юбке-макси или в килте. Переменчивость Апу побуждала многих из нас задаваться вопросом о его ориентации, но, насколько мне известно, он оставался традиционно гетеросексуален, хотя, по правде говоря, он был своего рода гением компартиментализации, он ухитрялся держать различные группы друзей в запечатанных отсеках, и люди из одного отсека даже не догадывались о существовании других, а потому он вполне мог вести еще одну тайную жизнь за ширмой гетеросексуальности, мог даже распутствовать втайне, однако мне это представляется маловероятным. Как мы убедимся, гендерная идентичность терзала вовсе не этого из братьев Голден. Конечно, в своих мистических изысканиях он свел немало странных, оккультных знакомств, которые не желал обсуждать. Но теперь, когда все известно, я начинаю реконструировать и ту жизнь, что он хранил в тайне.

Нас объединяло пристрастие к одним и тем же фильмам, вторую половину выходного дня мы охотно проводили вместе в “Центре IFC” или в “Фильм-форуме”, смотрели “Токійскую повесть”, или “Черного Орфея”, или “Скромное обаяние буржуазии”. Из-за любви к кино он и сократил свое имя в честь бессмертного Апу, сыгранного Сатьяджитом Ра-

ем. Отец, как он признавался мне, возражал: “Он говорил, что мы римляне, а не бенгальцы. Но пусть это его волнует, а не меня”.

Нерон Голден посмеивался над нашими походами в кино. Когда я приходил за Апу, Нерон частенько дожидался в маленьком дворике, выходящим в общий Сад, и тогда, обернувшись лицом к дому, он орал:

– Апулей! Пришла твоя подружка!

И напоследок замечание о его имени: он с восхищением отзывался об авторе, написавшем во II веке “Золотого осла”: “Этот парень унаследовал миллион сестерциев от отца, разбогатевшего в Алжире, и все-таки написал шедевр”. А также об имени своего старшего брата и о своем: “Если Петя – сатир из “Сатирикона”, то я уж точно осел, черт побери!” За этим следовало пренебрежительное пожатие плеч. Но по ночам, основательно выпив, он переворачивал эту мысль, что казалось более уместным, поскольку из этой пары, по правде говоря, он был сатиричен и приапичен, а бедняга Петя зачастую представлял длинноухим ослом.

В ночь, когда Голден устроили вечеринку в Саду, Апу и Петя познакомились с женщиной из Сомали, и узы, удерживавшие этот клан, начали распадаться.

Ее привел на вечеринку хозяин галереи, который к тому времени стал также агентом Апу, хотя не эксклюзивным: склонный подмигивать повеса с серебряными волоса-

ми, звавшийся Фрэнки Соттовоче, который в юности приобрел скандальную известность, написав краской из баллончика три буквы NLF²⁸, каждая в 12 дюймов высотой, на одном из монументальных полотен Клода Моне с кувшинками в Музее современного искусства, таким образом выразив протест против войны во Вьетнаме и вторя акции неведомого вандала, который в том же 1974 году выцарапал двухфутовые буквы IRA²⁹ в правом нижнем углу “Поклонения волхвов” Петера Пауля Рубенса в Королевском колледже Кембриджа; ответственность за ту акцию Соттовоче, когда ему было охота похвастаться своим лучшим и более молодым леворадикальным Я, тоже пытался приписать себе. Картины без особого труда отреставрировали, ИРА проиграла свою войну, Вьетконг свою выиграл, а галерист сделал выдающуюся карьеру, обнаружил и успешно раскрутил, в числе прочих, скульптора Убу Туур, работавшую резакон по металлу.

“Уба” значит на сомали “цветок” или “бутон”, это имя часто пишут *Ubax*, причем *x* означает гуттуральный звук, с которым понапрасну борется англофонная глотка, это фрикативный согласный, рождающийся в гортани, без участия голоса. Вариант “Уба” – упрощенный, уступка не-сомалийской глоточной некомпетентности. Она была прекрасна, как женщины, живущие возле мыса Горн – такая же длинношеяя,

²⁸ *National Liberation Front* (Национальный фронт освобождения Вьетнама), более известный как Вьетконг.

²⁹ Аббревиатура IRA обозначает Ирландскую республиканскую армию.

с изящными руками. В долгий летний вечер она показалась Пете цветущим деревом, под сенью которого он мог бы обрести покой, излеченный до конца жизни ее прохладой. В какой-то момент того вечера она согласилась спеть, и из этого щедрого рта вырвалась не завывающая сомалийская песнь, как он ожидал, а знаменитая ода Патти Смит самой любви, полная страсти и тьмы, с утешительными и предательскими повторами – “не могу обидеть тебя сегодня, не могу обидеть”... К той минуте, как пение стихло, Петя уже пропал. Он ринулся к Убе и застыл перед ней – растерянный, погибающий. На него нахлынула невыносимая, невыразимая любовь, и он пустился лепетать своей только что обнаруженной мечте о том и о сем, о поэзии и ядерной физике и о частной жизни кинозвезд, и она слушала серьезно и внимательно, принимая все его алогизмы – он срезал путь между одной мыслью и другой, – как будто они были вполне естественны, и Петя впервые в жизни почувствовал, что его понимают. Потом заговорила она, и он слушал, как под гипнозом, как мангуста перед коброй. Впоследствии он мог дословно повторить каждое слово, произнесенное ее идеальными устами.

Ее ранние работы, говорила она, вдохновлены примитивными художниками, с которыми она познакомилась на Гаити: они режут пополам канистры из-под бензина, расплющивают обе половинки и с помощью самых простых инструментов, молотков и отверток, режут и колют металл, пока

не получают изошренное кружево из веток, листьев и птиц. Она долго обсуждала с Петей, как использует паяльную лампу, чтобы получить такое кружево из железа и стали, и показала ему на экране мобильного снимки своих скульптур: останки разбитых (разбомбленных?) машин и цистерн, превратившиеся в тончайшую филигрань; металл, просквоженный воздухом сложных форм, сам приобрел воздушность. Она говорила на языке мира искусств: *война символов, желанные противопоставления*, этот высокоабстрактный язык посвященного описывал ее поиск *эмпатических образов, создающих баланс, а также столкновение контрастирующих идей и материалов*, а еще она исследовала *абсурдность противопоставляемых экстремальных позиций*, например, “*борец в балетной пачке*”. Она блистательно держала речь, харизматично и торопливо, почти до неразборчивости, то и дело проводила рукой по волосам и даже хваталась за голову, но под конец у Пети вырвалось (аутизм вынуждал говорить правду):

– Простите, но я ничего не понимаю. О чем вы говорите?

Тут же он возненавидел себя. Что за идиот: у него в глотке застряло “Я вас люблю”, а он вместо поклонения обрушил на великолепную возлюбленную презрение! Теперь она возненавидит его, и поделом, вся его жизнь станет бессмысленной и проклятой.

Она долго пристально смотрела на него, а потом разразилась целительным смехом.

– Это защитный механизм, – сказала она. – Боишься, что тебя не примут всерьез, если у тебя не будет мощной теории, особенно когда ты женщина. Вообще-то мои работы вполне внятно говорят сами за себя. Я умею втиснуть красоту в ужас, застаю людей врасплох и заставляю думать. Приезжайте ко мне в Райнбек и посмотрите сами.

Теперь я знаю наверное – теперь, когда складываю воедино паззл Золотого дома и стараюсь восстановить в памяти точную последовательность событий той важной ночи, записывая их по мере того, как они вновь предстают передо мной, – что именно в тот час вечер начал оборачиваться для Пети катастрофой, ибо страстное желание принять приглашение Убы вступило в борьбу с демонами, внушавшими страх перед внешним миром. Петя сделал странный жест обеими руками, полубеспомощный, полугневный, и тут же разразился монологом, торопливым нагромождением бессвязных высказываний обо всем, что приходило в его измученную голову. Настроение его становилось все мрачнее, пока он распространялся на самые разные темы, добравшись уже и до бродвейских мюзиклов и своей нелюбви к большинству из них. Далее тот неловкий эпизод с пайтоном, исчезновение Пети в доме и его страдания на подоконнике. Любовь у Пети всегда граничила с отчаянием.

Все лето он печалился, запираясь в своей омытой синим светом комнате, играл в компьютерные игры и (как мы обна-

ружили впоследствии) создавал компьютерные игры немыслимой сложности и красоты и мечтал об этом дразнящем лице, скрытом защитной маской, о режущем металл пламени в ее руках, которым она создает из грубого железа изысканные фантазии. Она виделась ему супергероем, богиней с факелом, более всего на свете он хотел быть с ней, но страшился путешествия: Принц, слишком терзаемый тревогами, чтобы пуститься на поиски своей Золушки. Он не мог даже позволить ей и признаться в своих чувствах. Он превратился в континент бесполезной болтовни, где таилась неприступная зона речевого паралича. Наконец Апу сжалился над ним и предложил помощь.

– Я возьму автомобиль с тонированными стеклами, – заявил он. – Мы обеспечим тебе *доступ*.

Впоследствии Апу клялся, что других целей у него не было, только перевести Петю через границы, поставленные страхом, и дать ему шанс с этой девушкой. Но, может быть, он говорил не всю правду.

Итак, Петя собрался с духом и позвонил, и Уба Туур пригласила братьев к себе на выходные и проявила достаточно сочувствия, сказав Пете: “Весь мой участок огорожен хорошим прочным забором, так что ты, наверное, мог бы счесть его внутренним пространством вроде своего Сада. Если тебе удастся договориться с самим собой, я смогу показать тебе скульптуры не только в мастерской, но и те, что стоят у меня во дворе”.

В свете догорающего дня, в грязном рабочем комбинезоне с лямками, волосы кое-как запиханы под бейсбольную кепку “Янки” (козырьком назад), защитная маска, только что снятая, болтается на локте – такой, не прилагая ни малейших усилий, Уба действовала сногшибательно.

– Пойдем, хочу тебе показать, – сказала она Пете и взяла его за руку, и повела по сумеречной стране, где повсюду были рассыпаны созданные ею гигантские сложные формы, словно кружевная броня богов и гигантов, словно обломки на поле битвы, перекованные легкими пальцами эльфов, и он следовал за ней, не жалуясь, веруя в существование изгороди, которую не мог разглядеть в угасающем свете и даже в лучах полной и яркой луны. Уба обошла кругом длинный приземистый фермерский дом, где она жила, провела Петю между домом и хлевом, где работала, и сказала:

– Смотри!

Там, на краю ее владений, где земля исчезала внезапно, катилась река, широкий серебристый Гудзон. У Пети перехватило дыхание. На долгий миг он даже забыл об ограде, не спрашивал, надежно ли он тут укрыт или же выставлен напоказ всему пугающему миру, а когда все же начал вопрос – “Если ли тут...” – и его рука задрожала, Уба крепче сжала его ладонь и ответила:

– Река – это стена. Здесь надежное убежище для нас всех.

И он принял ее слова и не боялся, стоял там и смотрел на воду, пока хозяйка не позвала обоих братьев в дом ужинать.

В теплом желтом свете ее кухни Петя снова сделался собой – болтуном, – он уплетал курицу с карри и манго, и сладость боролась на его нёбе с берберскими пряностями. Но пока он без умолку разливался о своем увлечении миром видеоигр, перемежая повествование о новинках с отрывками стихов о реке – это уж под влиянием мерцающей границы, – внимание Убы рассеивалось. Ночь затянулась, первоначальный план визита был позабыт, Уба Туур почувствовала, как нарастает в ней внезапность – измена.

– Как это ты до сих пор не женат? – спросила она Петю. – Такой мужчина – желанная добыча.

Но пока она это говорила, взгляд ее скользнул к Апу. Он сидел совершенно тихо, заверял меня впоследствии сам Апу, ничего не делал, но потом Петя обвинял его: *ты бормотал, ты что-то бормотал, ублюдок, ты напустил на нее черную магию*, а сам Петя пытался ответить Убе, спотыкаясь на словах: *давным-давно, да, кто-то, но с тех пор ждал, ждал эмоционального императива*, а она, говоря с ним, но глядя на его брата:

– Значит, теперь ты обрел эмоциональный императив? – спросила она, заигрывая, но глаз не отводя от Апу, а тот, как утверждал Петя, что-то бормотал, хотя сам Апу в разговорах со мной наотрез отрицал бормотание.

– Я знаю, что ты сделал, крысеныш, – кричал ему потом Петя. – Наверное, ты и в еду ей что-то подмешал, специи это скрыли, какой-нибудь скверный порошок из куриных потро-

хов, который тебе приготовила гринпойнтская ведьма, и ты бормотал, что ты там шептал – приворот, приворот!

И Апу, с неподвижным лицом, каждым словом усугубляя зло:

– Куда ж это подевался любимый папочкин сыночек? У которого дважды два всегда четыре? Четыре плюс четыре всегда восемь? Я ничего не делал. Ничего.

– Ты спал с ней! – выл Петя.

– Ну да. Это да. Извини.

Может быть, как-то иначе у них это прошло, меня же там не было. Вполне может быть, что Петя, прежде болтливый, за весь вечер не смог развязать свой язык, любовь сделала его немым, а живой и светский Апу завладел разговором и женщиной. Могло быть и так: Уба, которую все считали женщиной великодушной и любезной, обычно вовсе не склонной к безрассудству, на этот раз саму себя изумила, поддавшись внезапной похоти – к другому брату, своему собрату-художнику, восходящей звезде, женолюб, чаровнику. Истоки желания скрыты от самих желающих, вожделеющих и вожделенных. “Мой дух лукаво соблазняет тело/ И плоть победу празднует свою” (Бард Эйвона, сонет 151)³⁰. Так, не обладая полным знанием о почему и зачем, мы причиняем душевные раны тем, кого любим.

Темный дом. Скрип половиц. Движение. Нет надобности заново ставить банальную мелодраму собственно акта.

³⁰ Перевод С. Маршака.

Утром вина проступает на лицах обоих виновных, бросается в глаза, как заголовок передовицы. Массивный, тяжеловесный Петя, легкий бритоголовый Апу, женщина между ними – грозовой тучей. Нечего объяснять, говорит она. Так случилось. Лучше вам обоим уехать.

И Петя, запертый своим страхом перед миром в арендованной братом машине с тонированными стеклами, дрожит на заднем сиденье от унижительной, лишаящей мужества ярости, три часа молчаливого ужаса, пока они едут обратно в город. В такие минуты мысли человека вполне могут обратиться к убийству.

Через 18 лет после рождения Апу старик позволил себе внебрачную связь и не соблюдал меры предосторожности, и дело закончилось беременностью, которую он решил не прерывать, поскольку с его точки зрения право решать всегда принадлежало только ему. Мать была бедная женщина, чье имя осталось неизвестным (секретарша? проститутка?), в обмен на оговоренную финансовую поддержку она отдала ребенка отцу, покинула город и на том исчезла из рассказа об этом мальчике. Итак, подобно богу Дионису, младший был дважды рожденным, сначала от матери, а потом вторично, в мир своего отца. Бог Дионис всегда был парией, богом воскресения и прибытия, “тем, кому предстоит прийти”. Он также был андрогином, “мужчиной-отчасти-женщиной”, и если младший отпрыск Нерона Голдена, когда началась игра в классические псевдонимы, выбрал себе такое имя, значит, он что-то подозревал о себе еще до того, как узнал это, скажем так. В ту пору он бы обосновал свой образ, во-первых, тем, что Дионис прошелся с приключениями по всей Индии, да и мифическая гора Ниса, место рождения бога, с большой вероятностью находилась на субконтиненте, а во-вторых, это ведь божество чувственных наслаждений, не только сам Дионис, но и римский его двойник Вакх, бог вина, буйства, экстаза – все это, по словам Диониса Голдена,

звучало весьма заманчиво. Тем не менее вскоре он объявил, что предпочитает не зваться божественным именем полностью, а обходиться скромным, почти анонимным прозвищем из одной буквы Д.

Не так-то легко было ему интегрироваться в семью. С полубратьями отношения сразу же не задались. Все детство он чувствовал себя парией. Они прозвали его “Маугли” и дразнили, воя на луну. Его мать-волчица, говорили они, – шлюха из джунглей, а их мать-волчица – та самая, capitoлийская (в ту пору они, видимо, считали себя Ромулом и Ремом, хотя впоследствии Апу в разговоре со мной это отрицал, вернее, намекал, что это образ в голове Д, а не в его собственной). Старшие уже освоили латынь и древнегреческий, пока Д только учился лепетать, и они прибегали к этим тайным языкам, чтобы не допустить младшего в свои разговоры. Впоследствии они и это отрицали, хотя признавали, что способ, каким он проник в семью, а также большая разница в возрасте, породили серьезные проблемы и недостаток взаимной верности и естественной привязанности. Теперь юноша, Д Голден в обществе братьев то лебезил, то впадал в ярость. Было очевидно, как ему необходимо любить и быть любимым, в нем приливной волной бились чувства, которые требовалось выплеснуть на кого-то, и он с надеждой ждал, когда такая волна омоет и его, если же подобной страстной взаимности не случалось, он рвал и метал и уходил в себя. Ему исполнилось двадцать два, когда его семья переселилась в Зо-

лотой дом. Порой он вел себя не по годам разумно, а порой опускался до уровня четырехлетки.

Когда еще в детстве он собирался с духом и задавал отцу и мачехе вопрос о той женщине, что дала ему жизнь, отец просто вскидывал руки вверх и выходил из комнаты. Мачеха сердилась. “Оставь это! – крикнула она мальчику в некий роковой день. – Никому не интересна эта женщина. Она уехала, заболела и умерла”.

Каково это – быть Маугли, сыном женщины, которая никому не интересна, которая была столь хладнокровно выброшена его отцом и где-то во тьме внешней погибла одной из тех тысяч и мириад смертей, что постигают забытых всеми бедняков? Впоследствии, когда клятва молчания была нарушена, я услышал от Апу шокирующую историю. Настал момент, когда у старика что-то разладилось в отношениях с их матерью. Он гневался, она кричала в ответ. Тут я выпрямился и стал вслушиваться, потому что впервые в моих разговорах с Голденами женщина без имени и лица – супруга Нерона (с древности это звание не сулило счастья) выступила на авансцену и открыла рот, а также потому, что, согласно этому рассказу, Нерон орал и вопил, и она вопила и орала в ответ. Это не было похоже на того Нерона, какого я знал – того, кто держал свой гнев под контролем и позволял прорываться только самохвальным монологам.

Так или иначе, после взрыва семья разделилась надвое. Старшие мальчики встали на сторону матери, а Дионис Гол-

ден принципиально держался отца и убедил патриарха в том, что его жена, мать Пети и Апу, не в состоянии вести хозяйство. Нерон призвал супругу и забрал у нее ключи. На короткое время Д стал тем, кто всеми командует, заказывает продукты и решает, какую еду готовить на главной кухне и в подсобной. Публичное унижение, лишение чести: понятие этой женщины о чести было неразрывно связано с тем железным кольцом, величественным О диаметром в три дюйма, с которого свисало примерно двадцать ключей, больших и малых, ключ от кладовой, ключи от подвальных сейфов, где хранились золотые слитки и другие секреты богачей, от разных потайных уголков по всему дому, где она скрывала то, о чем ведала только она: старые любовные письма, свадебные украшения, старинные шали. Это был символ ее домашней власти, ее гордость и самоуважение были подвешены к кольцу вместе с ключами. Она была госпожой ключей и без этой роли превращалась в ничто. Через две недели после того, как муж велел ей сдать кольцо, низложенная хозяйка дома попыталась лишить себя жизни. Таблетки были проглочены; Апу и Петя нашли ее, упавшую у подножья мраморной лестницы; примчалась скорая. Она вцепилась в руку сына, и люди из скорой сказали Апу: вы поедете с нами, это важно, что она держится за вас, это она держится за жизнь.

В скорой парамедики разыгрывали доброго и злого копа.
– Сука придурочная, всех родных перепугала, делать нам больше нечего, нас вызывают на серьезные дела, настоящие

травмы, неотложные случаи, а не самоуничтожения, надо было бросить тебя умирать.

– Нет-нет, не ругай ее, бедняжку, она, конечно же, была в такой горе, все будет хорошо, милочка, мы о тебе позаботимся, все наладится, тучи рассеются.

– Какие к черту тучи, ты на дом посмотри, экие деньжищи, эти люди считают нас за прислугу.

– Не слушай его, милочка, он всегда такой, мы о тебе позаботимся, ты в надежных руках.

Она что-то бормотала с трудом, Апу не мог разобрать слова. Он понимал, для чего парамедики так себя ведут: чтобы не позволить ей соскользнуть в кому, и потом, после промывания желудка (это ему тоже пришлось наблюдать во всех подробностях, потому что ее рука-лапа так и сжимала его запястье), когда мать очнулась на больничной койке, она сказала ему: “Единственное, что я пыталась сказать в скорой: дитя мое, пожалуйста, разбей этому грубияну лицо”.

Она вернулась домой триумфально, ведь, разумеется, ее положение в семье было восстановлено, и то изменническое чадо, которое не было ее чадом, молило о прощении. И она сказала ему, что прощает, но на самом деле так никогда и не простила и до конца жизни почти не разговаривала с ним. Да и он не так уж мечтал о прощении. Она позволила себе называть его мать женщиной, которая никому не интересна, она заслужила все, что он ей причинил. После этого братья метафорически захлопнули дверь у него перед носом и сказали:

его счастье, что они-то к насилию не склонны. Он проглотил свою гордыню и у них тоже просил прощения. Получил он его не скоро. Но по мере того, как шли года, между ними постепенно восстановилось сдержанное доброжелательство, обрывистое общение, которое посторонние принимали за выражение бессловесной братской любви, а на самом деле они всего лишь притерпелись друг к другу.

Незаданные вопросы висели в воздухе, неразгаданные тайны: почему тот юный мальчик, который станет Д Голден, так истово мечтал вести домашнее хозяйство, что решился унижить ради этого мачеху? Лишь для того, чтобы доказать свою принадлежность к семье? Или – ведь так вполне могло быть – чтобы отомстить за покойницу, которая дала ему жизнь?

– Не знаю, – отмахнулся Апу, когда я спросил его. – Он редкостным засранцем порой бывает, когда ему в голову стукнет.

Из острого ощущения своей особенности, обусловленной незаконным рождением, Д Голден сконструировал версию ницшеанского элитизма для оправдания своего одиночества. (Всякий раз, как подумаешь о Голденах, мелькает эта тень *Übermensch*³¹.)

– Откуда возьмется “общее благо”? – цитировал он философа в Саду. – Термин внутренне противоречив: общее ма-

³¹ Сверхчеловек (нем.).

лоценно. В конечном счете все должно оставаться как есть и как всегда было: великое для великих, бездны для глубоких, нюансы и дрожь для утонченных и, словом, все редкостное для немногих.

Мне это показалось юношеской позой, не более того – я был всего на несколько месяцев старше и распознавал в нем собственную слабость, склонность философствовать. Д и в самом деле манерничал и принимал позы, эдакий Дориан Грей, худощавый, гибкий, что-то в нем чувствовалось женственное. Его образ – будто бы он единственный из своего клана обладал задатками величия, только ему хватало глубины характера, чтобы с головой погрузиться в скорбь, только он принадлежит к “немногим”, – казалось мне, вполне объяснялся потребностью в самозащите. Но я ему сочувствовал: ему выпали не лучшие карты, а строить вокруг себя стены стараемся мы все, ведь так, и, может быть, даже не знаем, от чего именно стараемся отгородиться, какая сила в итоге сокрушит стену и уничтожит нашу маленькую мечту.

Я ходил с ним иногда послушать музыку. Была такая рыжеволосая певица, которой он симпатизировал, Айви Мануэль, она раз в неделю выступала поздно ночью в одном местечке на Орчард-стрит, иногда в тиаре на голове, точно королева. Она пела каверы “Дикого ветра”, и “Знаменитого синего плаща”, и “Под мостом”, а потом переходила к немногочисленным собственным сочинениям, а Д сидел перед ней за маленьким круглым столом из черного металла, закрывал

глаза, покачивался под Боуи и Коэна и шепотом подменял слова “Чили Пепперс”: “Иногда я чувствую, что еще не родился, иногда я чувствую, что не хочу рождаться”. Айви Мануэль была его другом, потому что, говорил он (не в шутку), все встречавшиеся ему девушки традиционной ориентации тут же пытались на него запрыгнуть, но Айви лесбиянка, и с ней можно просто дружить. Он был самым красивым из Голденов, это с готовностью подтвердило бы любое волшебное зеркальце, и он умел быть самым из них обворожительным. Мы все в домах, примыкавших к Саду, стали жертвами его откровенности подранка, и за пределами Сада он тоже вскоре сделался известен. Он уверял, будто чужое внимание его смущает. Куда бы я ни пошел, люди смотрят на меня, говорил он, всегда смотрят, словно я кто-то, словно от меня чего-то ждут. Успокойся, отвечала ему Айви, никому от тебя ничего не надо. Он ухмылялся и склонял голову, якобы извиняясь. Шарм был его маской, точно так же, как у Апу: под этой поверхностью он бывал мрачен и часто печалился. С самого начала именно он был тот из братьев, в ком обитала самая темная тьма, хотя он и явился в мир подобный солнечному зайчику, с густыми, почти белыми волосами на голове. Волосы постепенно потемнели, стали каштановыми, и небеса его души тоже заволкло, частенько он впадал в депрессию, в уныние.

Айви не слишком подчеркивала свою сексуальную ориентацию, считала, что певице не подобает обклеиваться яр-

лыками. “Я ничего не скрываю, нет проблем, но думаю, что это не имеет никакого отношения к моей музыке, – говорила она. – Люблю, когда люблю. Не хочу, чтобы люди из-за этого не слушали мои песни, также не хочу, чтобы они слушали мои песни из-за этого”. Тем не менее ее аудитория почти целиком состояла из женщин – множества женщин плюс очаровательный молодой человек, которому не нравилось, чтобы на него смотрели, да я.

Все Голдены рассказывали о себе какие-то истории, в которых существенная информация об их корнях либо выпускалась, либо подменялась. Я выслушивал эти повести не как “правду”, но как слепок с характера. Вымысел, который человек о себе рассказывает, помогает понять его так, как не помогла бы документальная запись. Я воспринимал эти анекдоты, как “тики” игроков в карты: те невольные жесты, которые выдают, что у противника на руках – кто-то потирает нос, набрав козырей, или дергает себя за мочку уха, если не повезло. Умелый игрок следит за всеми, кто сидит за столом, подмечая их тики. Вот каким образом я старался наблюдать и слушать Голденов. Но однажды, когда я пошел с Д в то местечко на Орчард-стрит послушать, как Айви Мануэль поет Боуи – ч-ч-ч-ч, – и Митчелл “Не кажется ли, что всегда проходит”, и собственную забавную песенку на тему научной фантастики, “Терминатор”, о путешествующих во времени потенциальных спасителях человеческого рода, а потом я пил с ними обоими пиво в опустевшем ресторани-

ке, я упустил самый красноречивый тик. Кажется, это Айви затронула все более усложнявшуюся тему гендера, и Д в ответ рассказал греческий миф. Гермафродит был сыном Гермеса и Афродиты; нимфа Салмакида влюбилась в него так сильно, что молила Зевса навеки соединить их, и они слились, двое в одном теле, сохранив явные признаки обоих полов. В ту пору я думал, он в такой форме объясняет свою близость к Айви Мануэль, их вечное единство в дружбе. А на самом деле он рассказывал более странные вещи, но я не сумел вслушаться: он говорил о самом себе.

Суть метаморфозы в том, что она не случайна. Филомела, подвергшаяся нападению своего зятя Тирея, изнасилованная, с вырезанным языком, упорхнула от него в образе соловья, свободная, со сладчайшими песнями. Как и в мифе о Салмакиде и Гермафродите, боги допускают, чтобы тела превращались в другие тела под давлением отчаянной потребности – любви, страха, страсти к свободе – или же когда сосуществование в одном теле есть тайная истина, которую раскроет лишь такое преобразование.

Д всегда носил при себе три серебряных доллара, чтобы гадать с помощью старинных китайских гексаграмм. В ту ночь на Орчард-стрит он бросил монеты, и вышло пять неизменных прерывистых линий и одна неизменная непрерывная сверху.

– Двадцать три, – сказал он. – Сходится.

И убрал монеты.

В ту пору я ничего не знал о Книге перемен, но позднее в ту ночь искал гексаграммы в интернете. В наш век поисковых машин любое знание – в одном клике от тебя. Гексаграмма 23 называется “Разрушение” и описывается как знак распада. Ее внутренняя триграмма означает “дрожь” и “гром”.

– Пора домой, – сказал он и вышел, не оглянувшись на нас.

Я отпустил его. Я не бегаю за людьми, которые дают понять, что моего общества с них довольно. Может быть, щепетильность в данном случае помешала мне лучше разобраться, и прошло немало времени, прежде чем я подумал: возможно, под его страхом перед чужими взглядами кроется не тщеславие, нарциссизм или застенчивость, а нечто иное.

В начале всегда – какая-то боль, которую надо смягчить, рана, ждущая исцеления, незаполненная лакуна. А в итоге всегда провал – боль неизлечима, рана не заживает, бесконечная печальная пустота.

На вопрос о природе добра, который я задавал в самом начале этого повествования, я могу дать по крайней мере частичный ответ: жизнь молодой женщины, которая влюбилась в Диониса Голдена в некий день на тротуаре Бауэри и оставалась с ним рядом, во всем, что дальше произошло, неизменно окутывая его любовью, – это для меня один из лучших примеров хорошей жизни, какой я могу найти

в своем сравнительно коротком, ограниченном не таким уж большим пространством существования. “*Le bonheur écrit à l'encre blanche sur des pages blanches*”, говорит нам Монтерлан³². Счастье пишет белыми чернилами по белой бумаге. А доброта, добавлю я, так же ускользает от определения, как радость. И все же я должен попытаться, потому что двое нашли и крепко держали нечто, бывшее как раз этим, не меньшим – счастьем, порожденным добротой, – и оно в свою очередь их поддерживало против самых невероятных бед. Пока несчастье не смело его.

С того дня, как он с ней познакомился – она была в белой рубашке, в черной узкой юбке и курила французскую сигарету без фильтра на тротуаре возле Музея идентичности, – он понял, что нет никакого смысла скрывать от нее какие-то секреты: она умела читать его мысли так точно, словно подсвеченные известия сменяли друг друга у него на лбу.

– Айви сказала, нам надо познакомиться, – заговорил он. – Я подумал, это дурацкая идея.

– В таком случае зачем же вы пришли? – спросила она и со скучающим видом отвернулась.

– Хотел увидеть вас, чтобы понять, хочу ли я вас видеть, – пояснил он.

Это ее заинтересовало, но, казалось, лишь слегка.

– Айви сказала мне, ваша семья рассталась с родиной и

³² Анри де Монтерлан (1895–1972) – французский писатель, аристократ, скрывавший гомосексуальные наклонности.

вы не желаете обсуждать, как и почему это произошло, – заговорила она. Глаза ее были шире океана. – Однако сейчас, когда вы стоите передо мной, я вижу, что вы сами в изгнании – в разлуке с собой – возможно, с того самого дня, как появились на свет.

Он нахмурился, явно рассерженный.

– Откуда вы это узнали? – резко спросил он. – Вы кто, музейный куратор или шаман?

– Существует особого рода печаль, – ответила она, затягиваясь “Голуазом”, похожая на Анну Карину в “Безумном Пьеро”³³, – которая выдает отлученность человека от собственной идентичности.

– Мне противно современное помешательство на идентичности, – возразил он, пожалуй, с излишним нажимом. – Нас обрубают и сужают, пока мы не превращаемся в инопланетян друг для друга. Вы читали Артура Шлезингера? Он выступает против закрепления маргинализации путем утверждения различий.

Одет он в тот день был в тренкот и шляпу с узкими полями, потому что лето близилось, но еще не пришло, словно женщина, обольщающая посулами любви.

– Но это так и есть, мы все инопланетяне. – Легкое пожатие плеч, намек на гримаску. – Суть в том, чтобы максималь-

³³ Фильм Жана-Люка Годара (1965). Анна Карина играет роль девушки из мафии, которая совершает ряд убийств, обольщает богатого женатого мужчину, обманывает его и погибает от его руки.

но точно выяснить, каким типом инопланетянина предпочитаешь быть. И да, я прочла всех этих старых мертвых белых гетеросексуальных мужчин. Вам следует почитать Спивак³⁴ о стратегическом эссенциализме.

– Пойдем куда-нибудь выпить виски? – предложил он, все еще с раздраженной интонацией, а она продолжала взирать на него как на простачка, нуждающегося в помощи специалиста. Чулки у нее были с черными швами, избегающими сзади под коленки.

– Не сейчас, – сказала она. – Сейчас вы войдете в музей и познакомитесь с новым миром.

– А после этого?

– И после этого тоже нет.

Ночь они провели вместе в ее квартире на Второй авеню. Им столько всего нужно было обсудить, что они обошлись без секса, которому придают слишком много значения, сказал он. Она спорить не стала, но взяла на заметку. Утром он вышел за круассанами для нее, кофе, виски, сигаретами и воскресными газетами. Ключи лежали в холле на маленьком столе цвета красного дерева, что-то вроде ящика на ножках, не антиквариат, но добротная реплика. Он приподнял крышку и обнаружил револьвер на красной бархатной подушечке,

³⁴ Гаятри Спивак (род. 1942) – американский философ, родоначальница постколониальных исследований. Стратегический эссенциализм мобилизует различные меньшинства (гендерные, культурные, политические), предлагая им временно “эссенциализироваться”, то есть сгладить различия и выдвинуть на первый план групповую идентичность в борьбе за свои права.

кольт с перламутровой рукоятью, тоже добротная реплика, скорее всего. Он взял его в руки, покрутил барабан, прижал дуло к виску. Потом он говорил, что не нажимал на курок, но она смотрела на него в открытую дверь спальни и слышала, как щелкнул боек, камора оказалась пуста.

– Нашел ключи, – сказал он. – Добуду завтрак.

– Аккуратнее, – крикнула она вслед. – Не запачкай мне ковер в холле.

Рийя, так ее звали. Замечательная девушка. Всего на три-четыре года его старше, но уже на ответственной должности в музее, а кроме того она иногда по вечерам мурлыкала любовные песенки на Орчард-стрит, а еще отшивала собственный инди-лейбл из старого кружева и черного шелка, часто с добавлением парчи с цветочным узором, ориентальные темы, китайский или индийский стиль. Наполовину индианка, наполовину американка шведских корней, длинная скандинавская фамилия Захариассен не помещалась у американцев во рту, и она стала Рийя З., как он – Д Голден.

Все наши тайны зарождаются в алфавите.

“Вы войдете в музей и познакомитесь с новым миром”.

Был Музей коренных американцев на Боулинг-Грин, и был Музей американцев итальянского происхождения на Мал-берри-стрит, и Музей американцев польского происхождения в Порт-Вашингтоне, и два еврейских музея, в центре города и на окраине, и все это, безусловно, тоже были музеи идентичности, но MoI – Музей идентичности – ставил

себе более амбициозные цели, его харизматический куратор Орландо Вулф искал идентичность как таковую, новую великую силу, уже столь же могущественную, как любое богословие или идеология; культурная идентичность и религиозная идентичность, народ и племя, секта и семья, стремительно растущее междисциплинарное поле: в средоточии Музея идентичности был вопрос об идентичности любого Я, начиная с биологического Я и выходя за его пределы очень далеко. Гендерная идентичность, расщеплявшаяся как никогда прежде в человеческой истории, нарождавшиеся совершенно новые словари, возникавшие в попытке охватить новую изменчивость.

– Бог умер, и пустоту заполняет идентичность, – сказала она ему в дверях гендерной зоны, глаза ее мерцали ярким энтузиазмом истинно верующего. – Но, как выяснилось, наши боги с самого начала играли с гендером.

Ее черные волосы были коротко пострижены, повторяя форму черепа.

– Отличная прическа, – он ей сказал.

Они остановились посреди горшков, печатей и каменных статуэток Аккада, Ассирии и Вавилона.

– Великая Мать богов, пишет Плутарх, была двупола – оба пола присутствовали в ней, еще нераздельно.

Может быть, если бы он взял напрокат старый кабриолет, красно-белый, с “плавниками”, они бы отправились в далекое путешествие, может быть, через всю Америку.

– Ты видела когда-нибудь Тихий океан? – спросил он. – Наверное, разочаровывает, как и все прочее.

Они пошли дальше. Темноту музея нарушали ярко подсвеченные предметы, словно возгласы в монастыре.

– Эти артефакты каменного века могли быть трансгендерными жрицами, – рассуждала она. – Тебе следует смотреть как можно внимательнее. Это важно для цис-людей, как и для членов МЖ-сообщества.

Это слово внезапно вернуло его в детство: он снова сидит над учебником латыни, вливается свирепо, чтобы покончить с манерой братьев исключать его из разговоров на тайном языке Рима.

– Предлоги с аккузативом, – заговорил он. – *Ante, apud, ad, adversus / circum, circa, citra, cis. / Contra, erga, extra, infra*³⁵. Неважно. Галлия Цизальпинская и Трансальпийская. Понял. Теперь Альпы отделяют друг от друга два пола.

– Я это слово не одобряю, – сказала она.

– Какое?

– Пол.

Ох!

– Так или иначе, бог не мертв, – сказал он. – Уж в Америке точно.

М-Ж означало переход из мужчины в женщину. Ж-М – наоборот. Она обрушила на него поток слов, *гендерная флю-*

³⁵ Перед, раньше, к, против/вокруг, рядом, около, по эту сторону/против, в отношении, вне, под (лат.).

идность, бигендер, агендер, транс со звездочкой – транс*, разница между женственностью и феминностью, гендерная неконформность, гендер-квир, небинарность и заимствованное из культуры коренных американцев понятие о *двух душах*. Фригийскую богиню Кибелу сопровождали слуги М-Ж, именуемые галлами. В африканском зале – М-Ж окуле и Ж-М агуле племени лугбара, транссексуальные амазонки Абомея, фараонша Хатшепсут в мужском наряде с фальшивой бородой. В азиатском отделе Д остановился перед каменной фигурой Ардханаришвары, бога-полуженщины.

– С острова Элефанта³⁶, – сказал он и рукой закрыл себе рот.

– Ты этого не слышала! – с искренней яростью предупредил он ее.

– Я собиралась показать тебе фанчуанские³⁷ костюмы китайской оперы, для трансвеститов, – сказала она. – Однако с тебя вроде бы на сегодня довольно.

– Мне пора, – сказал он.

– Сейчас я готова тот виски выпить, – ответила она.

На следующее утро за завтраком, сидя в белоснежной постели и поедая круассан, куря сигарету и держа в руке очередной стаканчик виски, она тихонько пробормотала:

³⁶ Остров Элефанта находится в заливе Мумбаи, поблизости от города-который-нельзя-называть.

³⁷ Фанчуан – термин, обозначавший кросс-дрессинг в традиционной китайской опере, где мужчины исполняли женские роли; недавно стал использоваться также для обозначения трансвестизма.

– Я знаю имя страны, которую ты не хочешь называть. И тот город, о котором ты не хочешь говорить, тоже знаю, – шептала она ему в ухо.

– Мне кажется, я в тебя влюбился, – сказал он. – Но я хочу знать, зачем ты держишь револьвер в маленьком столике в холле.

– Чтобы убивать мужчин, которым кажется, что они в меня влюблены, – сказала она. – А может быть, чтобы убить себя, но насчет этого я пока не решила.

– Не говори моему отцу, что ты знаешь, – предупредил он, – иначе тебе, пожалуй, и не придется принимать решение.

Я закрываю глаза и проигрываю в голове сцену из фильма. Открываю глаза и записываю. И снова закрываю глаза.

Появляется Василиса, девушка из России. Потрясающая. Можно даже сказать, ошеломляющая. Длинные черные волосы. И тело длинное, великолепное: она бегала на марафонские дистанции, отличная гимнастка, особенно ей давалось выступление с лентой. Говорит, в юности ей чуть-чуть не хватило до российской олимпийской команды. Ей двадцать восемь лет. Юностью она считает пятнадцать. Ее полное имя – Василиса Арсеньева. Родом она из Сибири и утверждает, будто происходит от знаменитого путешественника Владимира Арсеньева, который написал много книг о том регионе, в том числе ту, что легла в основу фильма Кurosавы “Дерсу Узала”, но эта родословная сомнительна, поскольку Василиса, как мы убедимся, блистательная лгунья, изоштившаяся в искусстве обмана. Говорила, что выросла в лесах, в бескрайней тайге, покрывающей большую часть Сибири. Что ее семья из племени нанайцев, мужчины которого были охотниками, трапперами и проводниками. Она родилась в год Московской летней олимпиады, и героиней Василисы, пока она росла, была великая гимнастка Нелли Ким, полукореянка-полутатарка. Шестьдесят пять стран, в том числе США, бойкотировали Московские игры, но девочка в глубине лесов была далека от политики – правда, она слышала о падении Берлинской стены, когда ей было девять. Она обрадова-

лась, потому что к тому времени уже полистала немногочисленные журналы и мечтала отправиться в Америку и чтобы ее там обожали, а она будет посылать доллары США домой, своей семье.

И так она и сделала. Выпорхнула из гнезда. Вот она в Америке, в городе Нью-Йорке, а время от времени во Флориде, и ею многие восхищаются, и она зарабатывает деньги тем, чем обычно зарабатывают красавицы. Мужчины желают ее, но она ищет не просто мужчину. Ей нужен покровитель. Царь.

Вот она, Василиса. У нее есть волшебная кукла. Когда-то еще маленькая, прежняя Василиса была послана злой мачехой в дом Бабы-Яги, ведьмы, которая ест детей и живет в самой чаще леса, и тогда волшебная кукла помогла ей спастись, и она смогла начать поиски своего царя. Так сказка сказывается. Но другие рассказывали ее иначе, говорили, что Баба-Яга съела Василису, проглотила, как всех прочих, и таким образом уродливая старая ведьма присвоила себе красоту юной девушки, стала внешне точной копией Василисы Прекрасной, а внутри осталась острозубой Бабой-Ягой.

Вот она, Василиса, в Майами. Теперь она блондинка и скоро встретится со своим царем.

Зимой 2010 года, за несколько дней до Рождества, когда прогноз сулит дурную погоду, четверо Голденов в сопровождении Сумятицы и Суматохи, двух верных помощниц Нерона, прихватив также и меня, вылетели на юг из аэропорта Те-

терборо на том, что, как мне пояснил Апу, регулярные пользователи таких воздушных судов именуют Пи-Джи, и таким образом мы спаслись от великой метели. В городе, который мы оставили за спиной, все скоро начнут жаловаться на медлительность снегоуборочников, будут намекать на умышленный саботаж в знак протеста против бюджетных сокращений при мэре Блумберге. Двадцать дюймов снега в Центральном парке, до 36 дюймов толщина снежного покрова в некоторых районах Нью-Джерси и даже в Майами самый холодный декабрь в анналах, иными словами, 16 градусов, вполне умеренная погода, не так уж зябко. Старик снял несколько апартаментов большого особняка на частном острове поблизости от Майами-Бич, и нам там по большей части было вполне тепло. Петя любил остров: с материком его соединял только паром, и ни один чужак не допускался на священную территорию без рекомендации резидентов. Павлины птичьего рода и человеческого распускали тут перья, не боясь попасться на глаза чужакам. Богачи выставляли напоказ свои коленки и свои тайны, и никто лишнего не болтал, так что Петя мог себя уговорить, будто остров – огороженное место, и его страх перед открытыми пространствами разве что негромко урчал в тени.

– А, ты не знаешь, что такое Пи-Джи? Приватный джет, частный самолет, дорогой. Лети с нами.

Апу – общительный Апу, а не мой омраченный сверстник Д – пригласил меня лететь с ними, и “да, отправляйся”, ска-

зала мне мама, хотя это означало, что на праздники меня не будет дома, “получи побольше удовольствия, ну конечно”. Тогда я не мог знать, что мне больше никогда не представится случай приветствовать вместе с родителями вымышленного младенца Иисуса или невымышленный Новый год. Никак я не мог бы это предвидеть, но теперь об этом горько сожалею.

Апу был в своей стихии, замешался в густой салат из русских миллиардеров, соблазнял их жен – не захочет ли какая свой портрет, желательно почти без одежды. Я всюду таскался за ним, словно преданный пес. Меня жены миллиардеров не замечали. Вот и прекрасно: я привык быть невидимкой и по большей части предпочитал им оставаться.

Д Голден привез с собой Рийю, они были полностью поглощены друг другом и держались на отшибе вдвоем. Слуги прислуживали, окружение окружало, миссис Суматоха суматошилась, а ее сравнительно молодая помощница мисс Сумятица мельтешилась, и все у Голденов шло достаточно гладко. Я, их ручной Тинтин, тоже был вполне доволен. В канун Нового года на острове устроили богатую вечеринку для богатых резидентов, как обычно щедрый фейерверк, лучшего качества лобстеры, отлично организованные танцы, и Нерон Голден выразил желание выйти на танцпол.

Оказалось, старик отличный плясун.

– Ты бы видел его несколько лет назад, когда мы праздновали его семидесятилетие, – сказал мне Апу. – Все красоты

в очередь выстроились, чтобы с ним пройтись, он вальсировал, кружился в танго и польке, свинговал с ними, кружил их и вертел. Настоящие парные танцы, не дерганье в диско, дрыг-дрыг, вверх-вниз, как в наши упадочные времена.

Теперь, когда я знаю семейные тайны, я могу мысленно представить старика на огромной террасе на море, в их семейном особняке посреди поселения Валкешвар, вообразить, как элитные красотки Бомбея счастливо замирают в его руках, а его пренебрегаемая, подпирающая стену жена – я и впредь буду именовать ее “Поппея Сабина”, в соответствии с юлиано-клавдианскими вкусами семейства – неодобрительно взирает со стороны, однако молчит. Теперь он был старше, уже отпраздновал семьдесят четвертый день рождения, однако равновесие держал, и физическое, и душевное. И тут тоже нашлось немало молодых женщин, жаждущих, чтобы их вертели и кружили. Среди них Василиса Арсеньева, позаимствовавшая свой девиз у Иисуса Христа (Евангелие от Матфея, глава четвертая, стих 19): “Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков”. Время она рассчитала великолепно. Когда пробила полночь и наступил Новый год, в этот колдовской час она забросила роковой крючок. И стоило ей вступить в танец со стариком, ни у кого больше не оставалось шансов. Она была последней и окончательной.

Вот она, Василиса. Танцует со своим царем. Обхватила его рукой, и ее лицо говорит ясно: “Никогда не отпущу”. Она выше его ростом и в танце слегка наклоняется, прикасаясь

губами к его уху. Его ухо прислоняется к ее губам, желая понять, что они ему шепчут. Это Василиса. Она засовывает язык ему в ухо. Язык говорит на языке бессловесном, на языке, внятном всем мужчинам.

Дом Вандербильтов находится в самом сердце острова. Перемотка: вот Уильям Киссам Вандербильт II на своей двухсотпятидесятифутовой яхте заключает сделку с торговцем недвижимостью Карлом Фишером. Яхта в обмен на остров. Скрепим сделку рукопожатием. Вот Бебе Ребозо, которого во время Уотергейта обвинили в том, что он отмывал деньги Никсона. Бебе входит в группу людей, покупающих остров у того парня, который купил его у того парня, который купил остров у Вандербильта. У острова есть история. На нем есть обсерватория. Есть, как уже было сказано, павлины. Есть укромность. Есть гольф. Есть шик.

И в тот холодный праздничный сезон в доме Вандербильта, после новогоднего танца на великолепном паркете танцпола под открытым небом, среди деревьев, увешанных световыми гирляндами, горящих жаровен, живой музыки, женщин в драгоценностях, охранников, стерегущих драгоценности, мужчин, которые купили эти драгоценности и ревниво созерцали свою собственность, у острова появилась тема для разговора, любимая тема зимой и весной, с ноября по апрель: любовная интрига. Мои деньги в обмен на твою красоту. Скрепим сделку рукопожатием.

Новый год – время танца, а когда музыка закончилась, Василиса приказала: Нерон, иди домой и спи. Я хочу, чтобы ты встретил меня свежим, когда мы приступим по-настоящему. И он послушно, как хороший мальчик, побрел к себе в постель, а сыновья изумленно смотрели ему вслед. Не может быть, говорили их взгляды. Не может же он купиться на такое. Но его авторитет был столь велик, что ни один из них не произнес ни слова. На следующую ночь он освободил апартаменты, которые арендовал для себя и двух помощниц, загнав помощниц вместе с сыновьями в три других съемных помещения, где хватало свободных спален. Он остался один на седьмом этаже с видом на вершины пальм, маленький полумесяц пляжа, воду, блестящую чуть дальше. Ужин – креветочные коктейли, холодная нарезка, салат из капусты и авокадо, фруктовая корзинка, тирамису на десерт – доставленный моторной лодкой из прекрасного ресторана на южном берегу реки Майами, был заранее расставлен на столе. Икра, водка, вино, лед. Точно в назначенное время, ни минутой позже, ни минутой раньше, она вошла в его номер в золотой подарочной обертке с бантиком на спине платья, чтобы ему без труда ее распаковать.

Оба решили, что есть они не хотят.

Вот она, Василиса прекрасная, отдается своему царю.

В первую ночь и во вторую ночь, в первые две ночи нового года, она демонстрировала свой товар, позволяла покупа-

телю оценить качество того, что ему предлагалось – не только телесное, но и эмоциональное. Она... и тут я отступаю, сдерживаю себя, пристыженный, пруфрокнутый³⁸ внезапной *pudeur*³⁹, ибо, в конце концов, какое право я имею предполагать? Скажу ли я, что знал их всех, что я видел ее, подобную желтому туману, как она трется спиной, как накрывает ртом, как проникает языком в его вечерние уголки? Посмею ли я, посмею ли? И кто я, в конце концов? Я же не принц. Лорд из свиты, почтительный, рад услужить. Порой и вовсе шут... Но, поэзию в сторону, я слишком далеко уже зашел, чтобы остановиться. Я даже начал воображать ее позы. Наверное, она опустилась на колени в постели рядом с ним. Да, на коленях, думается мне. Спросила: ты этого хотел? Или этого? Это ли ты имел в виду?

Он царь. Он знает, чего хочет. И все, чего ты захочешь, как только захочешь, – твое, говорит она. В третью ночь она перешла к деловым вопросам. Его это не шокировало. Это упрощало дело. Бизнес для него – зона комфорта. Она вытащила отпечатанную карточку, с открытку размером, с готовыми квадратиками, где ставить галочки. Обсудим детали, сказала она.

Нам обоим понятно, что в доме на Макдугал я жить не могу. Это твой семейный дом, твой и твоих сыновей. А я не жена, так что я не принадлежу к семье. Значит, выбирай: а)

³⁸ Пруфрок – герой “Любовной песни Дж. Альфреда Пруфрока”. Т. С. Элиота.

³⁹ Щепетильностью (*франц.*).

квартиру в Вест-Виллидж, для удобства, ближе добираться или б) Верхний Ист-Сайд, чуть подальше, для уюта. Очень хорошо, б), я бы и сама это предпочла. Далее, размер квартиры, две спальни как минимум, так? И, может быть, дополнительно еще одна, студия? Хорошо! И квартира будет у меня в собственности или в аренде, или если в аренде, то на сколько лет? Окей, подумай насчет этого. Переходим к машине, выбор я оставляю полностью за тобой, одно из трех: а) “мерседес” с откидным верхом, б) “БМВ” шестой серии, в) “лексус” внедорожник. О, а), как мило. Я тебя люблю! Следующий вопрос, где у меня будет открыт счет: а) Бергдорф, б) Барни, в) в обоих. Фендигуччипрада само собой. Эквинокс – Сохо-Хаус – Эври-Хаус, вот список. И далее, размер ежемесячного содержания. Я должна жить на уровне, соответствующем твоему положению. Как видишь, категории – десять, пятнадцать, двадцать. Рекомендую проявить щедрость. Да, тысяч долларов, дорогой. Прекрасно. Ты об этом не пожалеешь. Я буду для тебя само совершенство. Я говорю по-английски, по-французски, по-немецки, по-итальянски, по-японски, на китайском и на русском. Я катаюсь на горных лыжах и на водных, занимаюсь бегом и плаванием. Гибкость, которую мне обеспечила в юности гимнастика, я сохранила. В ближайшие дни я лучше тебя самого буду знать, как тебя удовлетворить, и если понадобится оборудование, если для нас нужно будет построить особую комнату, назовем ее игровой, я прослежу, чтобы все было сделано безупречно и в

полной тайне. Я никогда не посмотрю на другого мужчину. Ни один мужчина не прикоснется ко мне, также я не допущу неуместных реплик или заигрывания. Ты имеешь полное право на эксклюзивность, и она вся твоя, в этом я клянусь. На сегодня все, но на будущее у нас останется еще один вопрос.

Это вопрос брака, сказала она, приглушая голос до самой соблазнительной хрипотцы. Если я стану женой, я получу и статус, и честь. Это я могу полностью и по-настоящему иметь, только если буду женой. До той поры, да, я буду счастлива, я буду самой верной, но мне дорога моя честь. Ты понимаешь. Разумеется. Ты самый понимающий мужчина, какого я встречала в жизни.

Повторюсь: я увяз уже слишком глубоко, чтобы теперь останавливаться. Придется идти дальше, продолжать подсматривать, совать монетки в киноавтомат. Да: в моем воображении это теперь фильм. Широкоэкранный и черно-белый.

Три сына Нерона Голдена, Петя, Апу и Д, двое из них существенно старше новой любовницы отца, а третий всего на четыре года ее моложе – все они в растерянности. Несмотря на все их различия и разногласия, это дело семейное, и они собрались обсудить ситуацию, но никак не могут выработать какую-то стратегию. Они сошлись подальше от снятых в аренду апартаментов, плотной группой на маленьком пляже острова. Пляж пустовал из-за холодной не по сезону погоды: низкая температура воздуха, сильный ветер, набегающие тучи, угроза, вскоре сбывшаяся, пронизывающего ледяного дождя. В шляпах, пальто, с муфтами они выглядели будто чешские интеллектуалы-заговорщики на морском берегу Богемии⁴⁰, за которыми, словно за поездами, ведется плотное наблюдение. Хотя двое старших хмурились, Рийя З. явилась вместе с Д, она льнет к нему так,

⁴⁰ Морской берег Богемии, т. е. Чехии, не имеющей выхода к морю – знаменитая ошибка Шекспира.

словно опасается, что иначе ее снесет ветром. Рийя – ровесница Василисы. Д это вычислил, но вслух не упоминает.

Камера наезжает чрезвычайно близко, пока они молчат, но в те минуты, когда мы слышим их голоса, переключается на панорамные кадры.

Петя

(выражает свои опасения теоретически, в присущей ему неуклюжей и неумолимой манере):

Главная проблема в жизни великого человека – выбор между правильными поступками и тем, что ему желанно. Авраам Линкольн, выдающийся борец, любивший славную схватку, наверное, предпочел бы проводить время на матах, а не вступать в войну, сгубившую примерно два процента населения, округленно шестьсот двадцать тысяч человек, но это был правильный путь. И конечно же, Мария Кюри предпочла бы проводить время с дочерью, а не получить смертельную дозу радиации, но сами знаете, какой она сделала выбор. Или взять Махатму Ганди, в молодости он щеголял в английских шитых на заказ костюмах, куда изящнее, чем набедренная повязка. Но набедренная повязка, в политическом смысле...

Апу

(перебивая затянувшееся перечисление):

Так что очевидно, что нашему отцу следовало сделать лучший выбор, чем увиваться за какой-то русской, не хочу произносить это слово, какой-то русской гимнасткой.

Камера кружит, наезжая все ближе, нарезает круги над стоящими на сдуваемом ветром песке, висит у них над головой, словно дрон-разведчик.

Д:

Он женится на ней. Таков ее план. Она его не выпустит, а он не может устоять.

Петя:

Брак повлечет за собой множество юридических осложнений. Возникнет вопрос о том, кто является ближайшим родственником, также вопрос о душеприказчиках и в целом вопрос о завещании. Также пока сохраняется неопределенность относительно места бракосочетания, а законы Флориды и штата Нью-Йорк не во всем совпадают.

Апу:

Наш отец не дурак. Пусть сейчас он ею одурачен, но во

всем существенном он не глуп. Он всю жизнь заключал сделки. Он, несомненно, учтет все преимущества железобетонного добрачного договора.

Петя

(Голос его переходит в вой, вторя разгулявшемуся ветру):

Кто же заговорит с ним об этом?

(Пауза)

Я не могу.

(Пауза)

Ему это не понравится.

Апу:

Мы должны сделать это все вместе.

Д
(пожимает плечами, начинает движение прочь):

Мне плевать на деньги. Пусть старик делает все, что хочет.

Рийя *тоже собирается уходить.*

Рийя

(предельно крупным планом, обращаясь к Апу и Пете):

Вы не думаете, что она сумеет сделать его счастливым? И что в ее сердце в самом деле найдется любовь к нему? Но даже если она симулирует, это все-таки может быть хорошо. Все во благо, что в целом уменьшает сумму всеобщего несчастья или несправедливости или того и другого. Итак, если она смягчит его несчастье, хотя бы на краткое время, хотя бы обманом, мы должны считать это благом.

Я вижу, какую жизнь он устроил для всех вас. Он словно огромная крыша, под которой вы укрываетесь. Стоит сделать шаг прочь, и вас всех застигнет буря, но пока он с вами. Он с вами до тех пор, пока не уйдет от вас. Но он же не только дом, где вы живете. Он мужчина, у него есть потребности – желать и вызывать желание. С какой стати отказывать ему в этом? Или вы думаете, что с возрастом желания исчезают? Позвольте вас уверить: неважно, сколько тебе лет. Это не может прекратиться.

Петя

(повторяет пристыженно, печально скользя под начавшимся дождем):

Не может прекратиться, не может прекратиться, не может
прекратиться не может прекратиться не может прекратиться
не может прекратиться не может прекратиться не может
прекратиться не может прекратиться не может прекратиться
не может прекратиться не может прекратиться не может
прекратиться не может прекратиться не может прекратиться
ся...

*Обрушивается ливень. Линзы камеры в крупных каплях
воды. Размывается в белый свет.*

А вот лучшая подруга Василисы и ее личный тренер по фитнесу, и зовут ее, скажем, Маша. Маша маленькая, ниже ростом, чем Василиса, но очень сильная. Она лесбиянка и, разумеется, блондинка. Маша хочет сниматься в кино. Услышав это, Нерон Голден замечает: “Дорогуша, у тебя для этой профессии правильные пропорции, вот только жить надо на другом берегу”.

Старик продлил пребывание на острове, и его семья и свита остались с ним, однако произошла перетасовка. Василиса переехала в апартаменты Нерона, прихватив с собой подругу-тренера, а всех остальных разместили в других местах. Недовольны все, кроме Нерона, Василисы и Маши. В тот вечер, когда дамы переехали, Нерон повез их ужинать. На острове есть места с неплохим меню, однако Нерон желал самого лучшего, а самое лучшее – это сесть в спортивный “бентли”, рядом на переднем сиденье Василиса, Маша клубочком на заднем, перебраться на пароме на другой берег и добрататься до знаменитого итальянского ресторана, откуда он заказывал блюда, которые так и остались нетронутыми в ночь их первого сближения. В знаменитом итальянском ресторане дамы от волнения выпили слишком много водки; Нерон, поскольку он за рулем, воздерживался. К тому времени, когда все трое вернулись на остров, дамы громко смеялись и

кокетничали, что Нерона вполне устраивало. В апартаментах он и сам накатил водки рюмку-другую. Но потом все пошло как-то странно. Тренерша склонилась над Василисой Прекрасной и поцеловала ее в губы. И Василиса ответила на поцелуй. А дальше – полная тишина, дамы обнимаются, Нерон Голден сидит в кресле, наблюдает, без малейшего возбуждения – шокированный, чувствует себя дураком, тем более когда дамы, словно его не замечая, встают. Выключают в гостиной свет, как будто Нерона тут нет, уходят в спальню – в его спальню! – и закрывают за собой дверь.

Когда они скрылись, ярость Нерона вспыхнула прежде всего из-за той небрежности, с какой они выключили свет. В его доме! В его присутствии! Словно он никто и ничто! Гнев раскрыл ему глаза на совершенную им чудовищную ошибку: он видит, что он – поддавшийся иллюзии старик, и его гордость возмущается и требует немедленно стать снова самим собой, тем, кто обладает властью, стать финансовым титаном, бывшим магнатом стали и строительства, главой семейства, колоссом, высающимся в просторном дворе Золотого дома, королем ныне и вовеки. Он встает и, не колеблясь, идет к выходу из апартаментов, предоставив двум женщинам в спальне заниматься, чем вздумают.

У двери тесная кладовка, и там на полке над плащами и пальто лежит небольшой кожаный чемоданчик. Старик всегда помнил об изменчивости вещей, он знал: пусть сейчас у тебя под ногами твердая земля, в любой момент она может

обратиться в зыбучие пески и поглотить тебя. Всегда будь наготове. Он заранее приготовился к великому переезду из Бомбея в Нью-Йорк, и теперь вполне готов к переезду поменьше. Он снимает с полки чемодан с вещами первой необходимости, убеждается, что ключи от других апартаментов у него в кармане, где им следует быть, и тихо выходит. Не хлопает дверью. Ему известно, что в соседних апартаментах, где расположились Петя и часть помощников, имеется маленькая комната для прислуги, никем не занятая. Прямо сейчас Нерон обойдется без роскоши. Ему нужна только дверь, которую можно закрыть за собой, и кровать за этой дверью, этого достаточно. Утром он разберется с тем, с чем нужно разобраться, тогда все его силы будут при нем. Голова вновь возьмет на себя управление сердцем. Он входит в комнату служанки, снимает пиджак, галстук и ботинки, с остальным не возится, быстро засыпает.

Он ее недооценил. Неверно оценил и собственную уязвимость, и ее решимость. Под его силой скрывается одиночество, и Василиса чувствует это, как охотничий пес чувствует подраненную добычу. Одиночество – слабость, а в теле Василисы Прекрасной обитает Баба-Яга. Захочет – проглотит Нерона целиком. Может проглотить его прямо сейчас.

– Ты не спишь? О, дорогой мой, мне так жаль. Мне так стыдно! Я напилась. Прости меня! Я очень плохо переношу алкоголь. Мне так жаль! Я всегда знала, что она вроде как

запала на меня, только такого я не ожидала. Я отослала ее прочь, мы никогда больше ее не увидим, клянусь тебе, ее больше нет в моей жизни, ее больше не существует. Умоляю, прости меня. Я люблю тебя, прости меня только один разочек, пожалуйста, тебе никогда больше не придется меня прощать. Я отблагодарю тебя на сотню ладов, вот увидишь, каждый день я только о том и буду думать, чтобы помочь тебе забыть и простить. Я напилась, вот мне и стало немножко любопытно, мне женщины даже и не нравятся, я не таковская, мне это вовсе не понравилось, я сразу же отключилась и уснула, а когда проснулась, конечно, я была в ужасе, боже мой, что я наделала, как обошлась с человеком, который ко мне так добр, я извиняюсь от всего сердца, я целую твои ноги, омываю твои ноги слезами и утираю их своими волосами, я ведь думала, на секунду я подумала, что это может тебя возбудить, это была глупость, глупость, вызванная водкой, я так виновата, когда напиваюсь, становлюсь немного безответственной, немного распушенной, поэтому я никогда больше не стану пить, разве что ты сам этого захочешь, захочешь, чтобы я стала чуточку безответственной и распушенной в твоих объятиях, тогда для меня будет величайшим удовольствием доставить тебе такое удовольствие, прости меня, прими мой стыд и мое смиренное покаяние, где ты, позволь мне прийти к тебе. Позволь мне прийти на одну только минуточку, извиниться перед тобой лицом к лицу, и тогда, если ты велишь мне уйти, я уйду. Я это заслужила, я знаю, только

не вели мне уходить, не дав и шанса сказать тебе лицом к лицу вот это, прости меня, я поступила дурно, очень дурно, только я была пьяна, и я прошу тебя, посмотри, как я стою перед тобой, пристыженная, может быть, ты найдешь в своем сердце силы простить меня, увидеть во мне всю мою любовь, всю благодарность, всю любовь к тебе и ради них ты, может быть,пустишь меня, ты не захлопнешь передо мной дверь, ты увидишь правду в моих глазах и простишь меня, а если нет, у меня нет права, я склоню голову и уйду, и ты никогда больше не увидишь меня, никогда больше не увидишь мой обнаженный стыд, не увидишь, как мое тело трепещет в рыданиях перед тобой, никогда больше не увидишь меня, я никогда больше не посмею прикоснуться к тебе, столько всего никогда больше, столько всего никогда не повторится, если ты прогонишь меня прочь, я уйду, но может быть, ведь ты великий человек, ты позволишь мне остаться, только великий человек может простить, а это было ничто, ошибка, глупость, ты, может быть, увидишь это и позволишь мне остаться, только позволь мне прийти. Я приду к тебе сейчас, прямо в том виде, как сейчас, где бы ты ни был, если ты захочешь, чтобы я нагая стояла на коленях у твоих дверей, я сделаю это, что угодно сделаю, все, только позволь мне прийти, где же ты, позволь мне только прийти.

Решающий момент. Он мог повесить трубку, списать убытки и освободиться. Он видел, кто она есть, маска соскользнула, и она показала свое настоящее лицо, и все ее

слова не могут сделать так, чтобы он развидел увиденное, перестал чувствовать то, что почувствовал, когда они выключили свет и направились в его спальню – в его спальню! – и закрыли за собой дверь. Он может покинуть ее.

Она поставила все на свой единственный шанс: он захочет развидеть увиденное, забыть то чувство. Он захочет включить свет, открыть дверь спальни и застать ее там – в одиночестве, в ожидании. Он сам расскажет себе эту сказку, сказку о подлинной любви, и сам в эту сказку войдет.

Он не повесил трубку, он слушал. Он вернулся в те апартаменты, где она ждала. И разумеется, она принесла ему извинения многими способами, и способы эти были ему приятны, однако это все лишь на поверхности. Под лаком – истина: женщина почуяла, что отныне ее власть, поняла, что теперь в их отношениях она всегда будет сильнейшей, и он ничего с этим не поделает.

La Belle Dame sans Merci завладела тобой.

Монолог В. Арсеньевой о любви и нужде

Право, я не требую сочувствия к моему нищему детству. Лишь те, кто никогда не был беден, ищут в бедности нечто достойное симпатии, и к этой глупости у меня ничего, кроме презрения, нет. Я не стану расписывать тяготы моего семейства, хотя их было немало. Проблема с едой, и проблема с одеждой, и проблема с отоплением, зато никогда не было недостатка в водке для моего отца, я бы сказала, ее было бо-

лее чем достаточно. Я была маленькой, когда мы переехали в Норильск поблизости от бывшего лагеря Норильлаг – лагерь, разумеется, закрыли чуть ли не шестьдесят лет назад, но остался город, построенный заключенными. В двенадцать лет я узнала, что этот город закрыт для всех иностранцев и выбраться из него тоже нелегко. И я много чего поняла про коммунистическую диктатуру и про то некоммунистическое угнетение, которое последовало за ней, однако не имею желания обсуждать это. Как и пьянство моего отца. Бедность отвратительна, отвратительно и неумение выбраться из нее. К счастью, я превосходила сверстниц во всем, и в спорте, и умом, поэтому я смогла уехать в Америку, и я благодарна за это, однако я знаю, что жизнь в Америке – результат моих трудов, так что благодарить особо некого. Я оставила прошлое позади, и здесь я – я сама, в этой одежде, сейчас. Пршлое – сломанный фанерный чемодан, полный фотографий тех предметов, которые я больше не хочу видеть. И о сексуальном насилии я тоже не стану говорить, хотя и это происходило. Сначала дядюшка, потом, после развода родителей, любовник матери. Я закрываю этот чемодан. Если я посылаю деньги матери, то чтобы сказать: пожалуйста, держи этот чемодан закрытым. И за отца приходится платить теперь по счетам онкологических больниц. Я посылаю деньги, но не вступаю в отношения. Дело закрыто. Я благодарю Бога за то, что я красива, потому что это позволяет мне держать уродство подальше. Я целиком сосредоточена на буду-

щем, сто процентов. Я сосредоточена на любви.

То, что люди называют любовью, циники именуют нуждой. Когда люди говорят “навсегда”, безлюбые циники уточняют: “В аренду на срок”. Я выше подобных низменных соображений. Я верю в доброту своего сердца и в его способность к великой любви. Нужда существует, это ясно, и ее надо удовлетворить, это предварительное условие, без которого не родится любовь. Нужно поливать почву, иначе растение не взойдет. Имея дело с великим человеком, нужно приспособиться к его величию, и он проявит великодушие, нужно заключить договор, это нормально, это, можно сказать, поливка почвы. Я реалистка, я понимаю: сначала нужно построить дом и только потом в нем жить. Сначала построить надежный дом, потом счастливая жизнь в нем, навеки. Это мой путь. Я знаю, его сыновья боятся меня. То ли за отца страшатся, то ли за себя, но думают они только о доме, не о жизни в нем. Не думают о любви. Я строю другой дом: дом любви. Они должны это понять, но если не поймут, я все равно продолжу строительные работы. Да, они зовут его Золотым домом, но в чем смысл, если нет любви в каждой комнате, в каждом углу каждой комнаты? Золото – это любовь, а не деньги. Они никогда не нуждались, его сыновья, в чем они знали нужду? Они живут словно очарованные. В чудовищном самообмане. Говорят, что любят отца, но путают нужду с любовью. Они нуждаются в нем. Любят ли? Мне придется собрать больше фактов, прежде чем ответить на этот вопрос.

Он должен получить любовь в своей жизни, пока еще может.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.